



НОВАЯ ПОЛЬША 11/2017

Выпуск изображений



Среди рассказов, воспоминаний и свидетельств, описывающих пребывание в советских лагерях и ссылках, особое место занимает роман Витольда Ольшевского «Мы строим канал».

Воспоминания начальника отдела планирования». Первая версия книги, созданной бывшим узником Северных железнодорожных лагерей в Республике Коми, была написана по-русски, а вернее — по-советски. На фотографии: Р. Кемпиньский 1945 г.



Настоящее имя Витольда Ольшевского — Ростислав Кемпиньский. Он родился 5 февраля 1907 года во Владивостоке. В мае 1931 года решает связать свое будущее и профессиональную карьеру с армией. После начала Второй мировой войны Кемпиньский вместе с польской армией отступал в восточном направлении в составе запасного состава Железнодорожного батальона. 23 сентября в Ковеле он был арестован солдатами Красной армии. Подкупив тюремного охранника, он благополучно бежал и, избавившись от солдатского мундира, начал пробираться на юг. Однако в ноябре 1939 года Кемпиньский был вновь арестован советскими спецслужбами при попытке

пересечь венгерскую границу. Вначале его поместили в лагерь, а потом перевели в тюрьму в Днепропетровске. На фотографии: Р. Кемпиньский ок. 1930 г.



Сняв погоны, Кемпиньский отказался от своей прежней личности и после ареста начал выдавать себя за Витольда Феликсовича Ольшевского, 1905 года рождения. Следствие продолжалось до начала марта 1940 года, все это время его постоянно унижали, вынуждая признаться в сотрудничестве с польской и немецкой разведкой. Он прекрасно владел русским языком, поэтому следствие решило, что он является «белым офицером». Обвинение — совершенно абсурдное, если принять во внимание возраст Кемпиньского/Ольшевского (год рождения

1905 или 1907). На фотографии: обложка книги «Мы строим канал» из 1947 г.



К месту наказания — в Северный железнодорожный лагерь в Коми АССР — Ольшевского отправили где-то в конце июля — начале августа 1940 года. Там он провел больше года, а после объявления амнистии согласно договору Сикорского-Майского он вступил в ряды формирующейся Польской Армии на Востоке. Благодаря довоенной службе в профессиональной армии, офицерскому званию и образованию Кемпиньского назначили капитаном в 10-й саперский взвод. Вместе с Армией Андерса он прошел весь боевой путь. Во время службы в Армии Андерса он написал роман «Мы строим канал. Воспоминания начальника отдела планирования». На фотографии: Ростислав и Ежи Кемпиньские, ок. 1942 г.



В 1948 году, пребывая в Великобритании, Кемпиньский демобилизуется и остается в эмиграции. Писатель решает покинуть Англию и вместе со своими двумя детьми и их матерью прибывает в Бразилию. В этой стране он остается до конца своих дней. Кемпиньский не отказался от принятого когда-то лагерного и писательского псевдонима. В 1974 году в письме Александру Солженицыну, Кемпиньский писал: «При благоприятном обороте дела, я останусь при своем псевдониме — под ним я провел два года в Союзе, и я не хочу афишировать свое имя и фамилию по целому ряду причин. Мой псевдоним и я — это одно целое, он — мой свидетель». На фотографии: ненапечатанные рассказы Р. Кемпиньского. Полный текст Катажины Паньчик уже на нашем сайте. Фотографии из архива К. Паньчик.

Содержание

1. Очарование «большевистской поэмы» Александра Блока
2. «Мы строим канал» история одного необычного романа и его автора
3. Московские похождения тов. Коваленко (из записей в тюрьме)
4. Котлеты с крем-брюле
5. В «Яме»
6. Хроника (некоторых) текущих событий
7. Экономическая жизнь
8. Быть лютеранином в Польше
9. Упрямство Мартина Лютера
10. Культурная хроника
11. Выписки из культурной периодики
12. Соседи
13. Размышления о современных революциях
14. Иконописцы в Замлынье
15. Стихотворения
16. Поэзия и история
17. Бердичевское эссе
18. неизбежность движения денег

Очарование «большевистской поэмы» Александра Блока

Перевод Ирины Адельгейм

Туманная и претенциозная поэмка «Двенадцать» призвана
быть апофеозом большевистской революции [...].
Блок — типичное свидетельство вырождения русской
поэзии под тяжелой большевистской пятой.
Антоний Ланге (?)

Никакой Блок не большевик и не коммунист, и даже не
«евроазиат». О таких поэтах Пушкин в свое время сказал:
«Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум».
Сергиуш Кулаковский

Непревзойденное, исполненное своеобразного
мессианизма выражение русской революции.
Казимеж Анджей Яворский

Первые польские отзывы об Александре Блоке и его творчестве, как и первые переводы его лирики были скованы путами антирусских предубеждений. На пороге независимости они по-прежнему правили умами. Эмоциональное напряжение, сопутствующее восприятию творчества Блока, являлось, прежде всего, следствием живучести демонической легенды России и воздействия «люциферической» интерпретации русской революции. По мнению многих граждан Второй Речи Посполитой, Александр Блок представлял собой, пускай и несколько архаического в плане выражения, романтика-максималиста, поэта меланхолии, русской «тоски», мистифицируемого декаденства. Для многих он был, разумеется, еще и гротескным Пьеро из бумажного «балаганчика», авангардным иронистом с суицидальными наклонностями, любовником Смерти и Пустоты. Однако всегда оставался также Блоком-большевиком, певцом революции, мистиком-коммунистом, автором «Двенадцати». В межвоенный период появилось несколько переводов самой знаменитой блоковской поэмы. Первый уже в 1919 г. опубликовал в газете «Пшеглэнд вечорны» Кароль Винавер,

адвокат, сотрудничавший (он защищал коммунистов на громких политических процессах) с Теодором Дурачем (перевод напечатан под псевдонимом Ежи Карвин). Спустя два года этот перевод был издан отдельным томом (Варшава, 1921). В двадцатые годы вышли новые переводы: Зофьи Войнаровской (1921; под псевдонимом Ян Хутник), Пшецлава Смолика (1922; под псевдонимом Чеслав Вроцкий), Вацлава Денхофа-Чарноцкого (1923; этот перевод современники признали лучшим), Мауриция Тушовского (1928). На территории Второй Речи Посполитой функционировали также переводы на иврит, белорусский^[1] и на идиш (опубликован в Варшаве в 1920 г., в год польско-большевистской войны). На идиш «Двенадцать» перевел Алтер Кацизне — превосходный драматург, эссеист, фотограф, переводчик Пушкина, Луначарского и Шевченко, родившийся в Вильно и с 1910 г. живший в Варшаве. Его перевод (Zwelf. Warsche 1920) предваряло предисловие коммунистического деятеля Шахне Карольского. Поэма Блока была известна, вероятно, также на украинском языке (украинский перевод упоминает Станислав Выгодский, который в 1924 г. в Верхней Силезии тайно читал его вместе с товарищами). Тридцатые годы принесли еще две польских версии «Двенадцати» — перевод Юзефа Лободовского (1935) и — названный Францишеком Седлецким позорно неудачным — перевод Целины Беккер (1935).

Правда, знавшие русский язык и читавшие Блока в оригинале очень сетовали по поводу качества этих переводов, ошибок, искажений, языкового «вандализма», «мистифицирующего читателя» «перевирания» и графоманских, беспардонных «ляпов». Их коробили введенные в текст эксцентризмы и «футуристические» ужасы; одним словом, то, что польские переводы даже в самых общих чертах не передавали впечатление оригинала. Однако, когда страсти наконец улеглись, исследователи пришли к выводу, что «передать [...] ценность поэмы Блока в каком бы то ни было переводе представляется просто-таки невозможным, особенно при условии сохранения лаконизма и целого ряда поэтических аллюзий»^[2] текста оригинала. Кароль Виктор Заводзиньский уверял, что для того, «чтобы транспонировать „Двенадцать” на язык польских площадей, ритм уличных куплетов, не утратив собственно поэзии, растворенной в тексте, необходим языковой гений», кроме того, «язык „Двенадцати” настолько связан с уникальным историческим феноменом, у нас, в Польше, к счастью, неизвестным, что мы вынуждены признать эту поэму непере译имой»^[3].

И все же поэма «делала свое дело», будила эмоции, возмущала и очаровывала. Критическая оценка польских переводов не повредила ее популярности, блоковский образ революционного переворота продолжал оставаться в центре споров (можно сказать, что поэма подпитывала набирающую обороты дискуссию на тему исторических корней большевизма — если говорить о польском интересе к России после 1918 г., это был вопрос фундаментальный), а поляков, интересовавшихся Блоком, становилось все больше. Как правило, на текст более или менее откровенно навешивался ярлык азиатчины, варварской антиевропейскости и большевизма (впрочем, не только у нас: итальянский переводчик даже изменил заглавие на «Canti bolscevichi» — «Большевистские песни»). Поэму презрительно именовали туманным и претенциозным «апофеозом большевистской революции», переложенной на мотивы «Камаринской», а автора — большевистским поэтом, который стремится «к нагромождению контрастов, не помышляя о смысле и внутренней правде»; одержимым галлюцинирующим алкоголиком, призывающим Европу «почтить в мирных братских объятиях большевиков»^[4]. Подчеркивали богохульство, заключенное в тексте «Двенадцати», обращение к «языческой по духу, сектантско-пугачевской мысли»^[5], превращение Христа в красного Бога, красного мстителя за угнетенный народ. Большевизма этой поэмы боялись в Польше как огня. Исключением стало лишь вышеупомянутое воодушевленное предисловие, которое Шахне Карольский предпослал переводу «Двенадцати» на идиш. Это была исполненная восхищения идеей нового завтра, которого добились русские революционеры, благодарность автору от имени «еврейского пролетарского читателя». Преданных красному знамени персонажей поэмы Блока Карольский назвал великими и бессмертными героями, на которых покоится «Шехина» (Бог и Его Присутствие; Благодать Божья, наполняющая Дом Божий); подобной им безграничной жертвенности критик не находил «ни у одного народа в наиболее революционных его слоях»: «можете светить себе тысячью солнц, копаясь в мещанском болоте в поисках такой полноты ненависти и любви, но и следа ее не найдете»^[6].

Однако обычно польские критики, интерпретировавшие поэму Блока, не выражали энтузиазма по поводу большевистской революции как таковой. Тем не менее, отказаться от Блока им было трудно, они не были готовы так легко отречься от обожаемого Символиста. А потому пытались смягчить эту идею, подчеркивая, например, что хотя русская лирика оказалась связана с большевистскими лозунгами, но все же

содержит «мощь невыразимой красоты и подлинную глубину чувств», а «революционная страсть, безбрежная печаль этих бесконечных российских просторов, странное спокойствие, восточная, исполненная огня чувственность, нота меланхолии и раздумий, соединенные воедино, определяют [ее] непреходящее очарование»^[7]. В обобщающих исследованиях о польской литературе Блока именовали «современным коммунистическим автором». Так назвал Блока, Маяковского, Есенина и Пильняка уже цитировавшийся Галинский, отмечая их явное влияние на пролетарских поэтов — Вандурского, Стане, Броневского. О Блоке как об экзотическом цветке, возросшем «на лоне грубой азиатско-татарской российской государственности», советском поэте, поначалу пребывавшем «в эмпиреях абстракции и аполитичности, в лазури индивидуалистского экстаза, чтобы на наших глазах пасть в объятия советской идеологии», писал в 1922 г. на страницах газеты «Жечпосполита» В. Радзивонович^[8].

Такого рода аргументация, однако, заключала в себе определенный риск, поскольку содержала некоторую амбивалентность: слишком легко можно было обвинить ее автора в пропаганде идей, угрожающих священному национальному порядку. Поэтому чаще всего Блока и все русское любыми способами старались отграничить от большевизма. Критики манипулировали самим этим понятием, подразделяя большевизм на хороший, терпимый и неприемлемый. Например, часто подчеркивалось, что большевизм этого произведения чужд марксистским идеям, материалистическому видению мира, идеологии классовой борьбы; что он стоит ближе к мистике, русскому мессианизму. Идею «большевистской» поэмы Блока отделяли — как нечто совершенно иное, абсолютно самостоятельное — от большевизма с его ненавистью к Христу, любви и прощению, большевизма, выродившегося в «отчаянный, выхолощенный материализм». Согласно подобным интерпретациям, Блок являлся «красным, но не большевистским» (С.Рогож). Таким образом критики пытались, с одной стороны, ослабить воплощенные в поэме бакунинские антирелигиозные идеи, с другой — выразить ощущаемую ими самобытность позиции Блока, который, хоть и считал большевистский переворот актом исторической справедливости и принял новую власть, но по своим убеждениям стоял ближе к эсеровским идеям (революционно-консервативному крылу этого движения). Чтобы избежать политических споров, иные писавшие о «Двенадцати» публицисты и литературные критики пытались ограничиться вопросами метафизики и психологии, усердно подчеркивая, что это произведение во всей полноте показало

«Янусов лик» русской революции — «то искажающийся в гримасе хихиканья, то застывающий в ужасе», что поэма отражает «маску революции с ее враждебными отсветами и меланхолическими тенями»^[9]; что речь идет об антиномиях русской души, о русской идее. В такого рода интерпретациях текст «Двенадцати» якобы точно характеризовал сердце русского человека, царящие в нем противоречия — эту «кошмарную гармонию»: сливающиеся в слепой и дикой революционной стихии туманную, фаталистскую тоску и пролетарский пафос; «ненависть и внезапную нежность», «неверие и сомнения в существовании Бога» и «страстную потребность в постоянном его присутствии», нигилизм и бесконечную веру в неуничтожимость «нищей России»; бесконечную любовь к России и какую-то яростную страсть, «что она, что из-за нее, что в ней — источник „мрачной святой муки“» (С.Рогож). Само же большевистское движение в такой перспективе представляло «обнажением мрачной и богатой души русского народа», поскольку именно «давние устремления и давние национальные черты народных масс России» «гораздо более, нежели выхваченные из марксизма идеи» предопределили его триумф^[10]. Большевизм в этих случаях чаще всего сравнивали — по размаху, «конкретности» социальных идей и дикой жестокости — с бунтом Стеньки Разина трехсотлетней давности.

Критики пытались также доказать, что «Двенадцать» Блока — это поэма, выросшая «на почве идеологии, сформировавшейся у поэта еще в 1906–1907 годах не без воздействия своеобразно преломленных идей славянофильства». Знатоки русской литературы и культуры — как, например, Сергиуш Кулаковский — объясняли, что «Двенадцать», как и «Скифы» или циклы Блока 1906–1908 гг. (т.е. «Родина», «На поле Куликовом»), обнаруживают влияние соловьевского панмонголизма, славянофильства Константина Леонтьева^[11]. В 1930-е гг. продолжателем этого пути интерпретации последних блоковских поэм стал, например, профессор Виленского университета Богумил Ясиновский, но для него славянофильское движение явилось уже просто очевидным мостом, связующим более ранние этапы истории русского народа с феноменом большевизма: «Психологическая эволюция, ведущая от славянофильства к большевизму, [...] становилась порой достоянием одной и той же личности — и духовное преображение Александра Блока приобретает в данном случае масштабы символа...»^[12].

Эта своеобразная борьба за Блока представляла собой процесс весьма драматический и напряженный, поскольку было ясно,

что не защитить поэта от стремления идеологов сделать его певцом большевистского переворота — означало бы отвергнуть его произведение. Поэтому критики страстно доказывали, что «никакой Блок не большевик и не коммунист, и даже не „евроазиат”» (С. Кулаковский), а «безумная и незаслуженная» слава этой поэмы как «апофеоза советской власти» — ошибка, недоразумение, выискивание какой-то необыкновенной тайны в случайной ассоциации, заставившей поэта поставить Спасителя во главе красногвардейцев, поиск в этом факте пророческого ясновидения. Потому что на самом деле «Блок в душе ненавидел [советскую власть]»; в качестве же последнего аргумента, призванного убедить неверующих в безупречной репутации поэта, поминали враждебное отношение к нему большевистских идеологов, добавляя «его, больного, не выпустили из России!»^[13]. Прилагались огромные усилия к тому, чтобы интерпретировать «большевистскую» поэму Блока — «при всей [...] видимости „левачества”» — прежде всего как произведение «глубоко русское, народно-русское», «совершенно русское», заключающее в себе «то же настроение мессианизма, которое является столь выдающейся чертой почти всей русской поэзии» (С. Рогож). Подозрения, не стал ли «романтик чистой воды» большевиком, обвинения в двусмысленности идеи произведения, все сомнения подобного рода — последовательно развеивались: «Правда, [...] красногвардейцев ведет Христос, то есть эту революцию поэт наделяет ролью некоего благословенного национального движения. Сей факт, однако, является доказательством того, что, согласно Блоку, большевистская революция, начатая без Бога, соединится с Ним позже и, преобразившись, вступит на истинный путь. И тогда революция как движение во имя Бога достигнет успеха и предопределит будущее народа»^[14].

Если этот аргумент не срабатывал, подчеркивали, что ведь и так ясно, что нимб, которым был увенчан жуткий лик большевизма, сиял «отсветом ада», а не «лучами Божьих апостолов». Художественная правда произведения не могла и не желала скрыться под апофеозом революции — поистине негативной оценки достойных осуждения преступлений и пороков; а следовательно — «нельзя говорить об убедительности канонизации, безусловно сознательной, этих двенадцати красногвардейцев»^[15].

Как мы видим, авторы посвященных «Двенадцати» рецензий и статей, публицистических и литературно-критических текстов сосредотачивались обычно на «верной» интерпретации идеи поэмы, ее содержания, на утверждении, что Блок является — или же не является — советским, большевистским,

коммунистическим поэтом. Так происходило потому, что — как заметил Виктор Шкловский — поэму Блока читали «всерьез и только всерьез», тогда как поэма «Двенадцать» — «ироническая вещь», написанная «даже частушечным стилем», «сделанная „блатным“ стилем. Стилем уличного куплета вроде савояровских»^[16].

Описанные выше тенденции в интерпретации и понимании поэмы Блока затрагивали, конечно, и другие явления, связанные с русской революцией. Их тщательно подмечала и комментировала периодика межвоенной Польши. На революционные события в России живо реагировали также польская поэзия, роман, репортаж; следы этого интереса можно заметить также в сфере невербальной — в политической карикатуре того времени. Об этом уже много говорилось, поэтому здесь я хотела бы обратить внимание лишь на одну характерную доминанту — сам факт тенденциозного стремления вписать русскую культуру в рамки культуры азиатской, внеевропейской. Такого рода предубеждения, усилившиеся в 1917–1939 гг., хотя и отсылающие к началу XIX в., романтическому образу ненавистной сатанинской царской России, очень заметно повлияли на интерпретацию феномена русской революции как плоти от плоти России. Появляющиеся в русской литературе картины большевистского переворота как выражения бесовской одержимости, дьявольского наваждения, дела рук Антихриста, овладевшего миром и человеческим разумом, лишь усиливали усвоенную соседом демонизирующую перспективу. Польское восприятие русской литературы, связанной с революционной тематикой, в том числе и прежде всего — поэмы Блока о двенадцати красногвардейцах, представляет собой интереснейшее свидетельство такого ориентализующего восприятия всего российского, и одновременно пример глубокой зависимости интерпретации литературного произведения от внелитературных процессов. Дискуссия вокруг «большевистского» произведения Блока на страницах межвоенной периодики показывает, что поэма привлекла внимание, прежде всего, как образ революционной реальности. Poleмика вокруг нее сводилась к попыткам решить, является ли автор приверженцем большевизма, апологетом революции, или он все же каким-то таинственным образом ее оспаривает. Идеологическая, мировоззренческая проблематика явно превалировала над анализом гениальности поэмы, что было явлением нередким — так прочитывались и многие другие произведения русской литературы. Правда, польские ее знатоки — как, например, Кароль Виктор Заводзиньский — обращали внимание на мастерство

воплощения блоковского замысла, на необычайные достоинства поэтического языка, пытались интерпретировать «Двенадцать» в контексте творчества поэта и современной русской поэзии в целом; тем не менее, в центре оказывался не вопрос уникальности и авангардности поэмы, а проблема идейного содержания завершавшего ее символического образа Христа в белом венчике из роз, с кровавым флагом встающего «вперед» блуждающих среди вьюги красногвардейцев... Разумеется, такое положение дел выглядит естественным и легко объяснимым. Читая «Двенадцать» в момент, когда большевики по соседству устанавливали новую власть, Феликс Дзержинский разрешил использование автоматов для массовых казней врагов революции, а в кронштадтском порту плавали тела утопленных в Финском заливе контрреволюционеров (что в особенности заставляло содрогнуться в пароксизме «исторического» ужаса) — как было не отодвинуть на второй план художественные изыски? Всеобщее ощущение, будто поэма Блока — голос революционного подсознания, как спустя годы прокомментировал атмосферу восприятия поэмы Казимеж Вежиньский («На цыганской повозке», Лондон 1995), — способствовало трактовке блоковского мимезиса как источника мифотворчества и резонанса худших предчувствий и иррациональных страхов. Блоковское слово, будто икона, оказывалось окном на ту сторону действительности. А поскольку это была икона *адописная*^[17] (изображающая ад и дьявола), а следовательно являющаяся «игрой» в неузнавание «антихристовой прелести»^[18], читатель созерцал души демонов — искушавшие, влекущие и ужасавшие...

Опасения и напряженность, связанные с польско-большевистской войной, способствовали прочтению поэмы в Польше как свидетельства революционной реальности 1917 г., актуального комментария к происходящим в России событиям, но одновременно и как своего рода пророчество, касающееся будущего коммунизма; они заставляли демонизировать образ русской революции, большевика и Россию в целом. Другими словами, чтение вышло из-под контроля разума... Демонизацией большевизма (или коммунизма), вписыванием русской революции в люциферическую схему определялись и сюжеты, которые польские поэты, очарованные этой поэмой, вводили в собственное творчество, и то, как они «переписывали» сценарий «Двенадцати» в собственных произведениях или дописывали к нему свой текст, и сами польские переводы знаменитого блоковского текста^[19]. Этому вопросу стоит

уделить особое внимание. Исходя из того, что перевод является политическим актом^[20], полагая — вслед за теоретиками транслатологии, принадлежащими к так называемой функционалистической школе теории «скопос» (Scopostheory, Skopostheorists), такими, как Х.Г. Хениг, К. Шеффнер, — что любой перевод предполагает определенную степень манипуляции текстом-источником, а в полисистеме принимающей культуры становится значимым элементом борьбы за власть и доминирование, я постараюсь показать, как происходила эта борьба доминирующей культуры — польской с русской, вводимой в обиход, подвергающейся манипуляциям — если говорить о феномене бытования «Двенадцати» в польской литературе того времени. Присутствие этой поэмы, понимаемое как «существование» в сознании читателей и круге чтения и воздействие на него переводов, а также как «иллюзорное», дефрагментированное присутствие фабулы/поэтики/идеи поэмы в воображении отдельных поэтов — я буду рассматривать как своеобразную, чрезвычайно интригующую структуру, на которой свой глубокий след оставило противодействие глубоко укорененным, внедряемым и постоянно подпитываемым стереотипам русской литературы и России в целом. Именно они, подчиняясь доминировавшему в межвоенный период дискурсу, будучи частью идеологического климата эпохи, оказались тогда главными факторами, способствовавшими появлению новых переводов, переписыванию «Двенадцати», манипуляции всем процессом, связанным с бытованием поэмы Блока в сознании польского читателя того времени.

Говоря, прежде всего, о скопосе (цели) межвоенных переводов произведения Блока, понимаемых как «создание функционально адекватного переводящего текста, опирающегося на существующий исходный текст»^[21], можно рассмотреть способы реинтерпретации, процесс изменения смысла оригинального текста или манипулирования им в переводах. Однако хочу сразу подчеркнуть, что я не ограничусь только переводами, поскольку считаю не менее интересным и важным прочтение системы сознательных и неосознанных предубеждений и стереотипов, которые руководили теми читателями поэмы Блока, которые позже в своих собственных произведениях — явно или при помощи криптоцитат — отсылали к сценарию «Двенадцати». Полагаю, что в данном случае, подобно тому, как практически любой выбор, совершаемый переводчиком, подчинен принятой им идеологии, сам творческий процесс, находящийся в контексте интертекстуальных аллюзий, также осуществляется согласно подобным законам.

Поэма «Двенадцать», как уже говорилось, переводилась в межвоенный период многократно. Наиболее благодарным для анализа *exemplum* манипуляции исходным текстом, а следовательно, и «демонизации» русской революции, являются переводы, сделанные Каролом Винавером, Целиной Беккер и, прежде всего, Маурицием Тушовским (1928 г.)^[22]. В его версии поэма «Двенадцать» предстала образом безумной России, захваченной сатаной, безвольной в руках нечеловеческих, дьявольских сил. Речь повествователя, язык персонажей и, прежде всего, конструкция пространства подчинены в переводе Тушовского прочтению поэмы — в духе о. Павла Флоренского — как *бесовидения в метель*^[23], свидетельства одержимости России демонами. Первая часть, в оригинале представляющая собой лаконичную зарисовку реалистически (метонимически) изображенного хронотопа, где будут происходить дальнейшие события, в этом переводе разрастается в эмфатический, стремящийся к гиперболизации образ ветра, сознательно опрокидывающего человека на землю, словно бы сбрасывающего его в некую дьявольскую пропасть («*Pada z nóg strącony człek*»). Короткая, скандируемая, дважды повторенная Блоком строка «ветер, ветер» передана словами, которые подчеркивают поразительную и ужасающую необычность силы стихии: «*Niesamowita wichru moc!*» В оригинале холодный ветер, толкающий прохожих, мешающий движению, а кое-кого и опрокидывающий на скользкую мостовую, конечно, силен; его мощные дуновения затыкают повествователю рот, заставляя ограничиться короткими, выкрикиваемыми между очередными бьющими по лицу порывами, комментариями; однако о его необычности, во всяком случае, поначалу, речь не идет. В первом фрагменте поэмы Блока ветер определяется лишь как резкий («хлесткий»), порой как проказливый и озорной («веселый / И зол и рад»). Это ветер, который «Завивает [...] / Белый снежок», «Крутит подолы, / Прохожих косит», и попросту «свищет», во второй части — «гуляет». Лишь гораздо позже он постепенно становится более опасен, вовлекая в свой вихрь все вокруг. Но даже в десятой части, где говорится о разыгравшейся вьюге, пурге (в польских переводах появляется длинный ряд эквивалентов: «*zadyma*», «*dujawica*», «*zamięć*», «*dma*», «*wichura*», «*sroga burza*», «*śnieżyca*», «*mięcielica*», «*zawierucha*»), ее демонизация не принимает столь аффектированных форм, как это попытался сделать Тушовский (и большинство переводчиков).

У Блока об усиливающейся вьюге говорится: «Разыгралась чтой-то вьюга, / Ой, вьюга́, ой, вьюга́! / Не видать совсем друг друга / За четыре за шага!», «Снег воронкой завился, / Снег

столбушкой поднялся...», «Ох, пурга какая, спасе!» Ветер и вьюга, являющиеся в поэме Блока символом революции, стали в польских переводах межвоенного периода первой мишенью для ostranenia, первыми жертвами легкой гиперболизации и демонизирующих амплификаций; не было переводчика, который бы воздержался от введения при их характеристике каких-либо дополнительных, аксиологически окрашенных определений. Правда, у переводчиков, относительно точно придерживающихся лаконичной версии Блока, например, Пшецлава Смолика (писавшего под псевдонимом Чеслав Вроцкий) — ветер только дует, «zakręsa, miecie / Bialutki puch»; и свистит; у Денхофа-Чарноцкого это хлещущий снежный вихрь, измучивший город; однако в переводе Войнаровской «Wicher tnie zawzięcie», «tańczy wokoło / przechodniów», безумствует; у Тушовского это вихрь, который «miota / Śnieżny puch...», «skowyta srogі...»; у Карвина образ еще более демонический: кладбищенский вихрь, который «wyje, / Aż mu ochrypł całkiem głos!», «Na nic niepomny», разыгрывает «Dzikie igrzyska», «gdzieś śniegiem rzuca w mrok»; у Беккер «jęczy», «jak różga w twarz uderza», «Przechodniów miecie, / Smaga i gniece», «gdzieś tam w rynnie / Zawodzi», бушует.

Как мы видим, амплификация в трех последних переводах — Тушовского, Беккер и Карвина — порой очень сильно вторгается в смысл произведения; навязывает определенную его интерпретацию. Денхоф-Чарноцкий, например, говоря о поднимаемых ветром снежных клубах, наделяет его дьявольскими интенциями: «Śnieg się wzbija z mocy złej, / Śnieg się skręca w biały lej...»; Беккер создает атмосферу подозрительности: ветер «skrada się» вверх; Тушовский, добавляя, что «dujawią» прилетела «I świat skuła w mroki!», в очередной раз подчеркивает силу и власть ветра, но также и его безжалостный деспотизм. Тот же Тушовский в одиннадцатой части, где Блок пишет: «И вьюга пылит им в очи / Дни и ночи / Напролет...» — добавляет: «A zamieć dniem i nocą / Nieposkromioną mocą / Tnie w oczy!». В последней же части, где говорится о том, что «Только вьюга долгим смехом / Заливается в снегах» — добавляет «śmiechem złowrogim», «Z kurzawicą idąc w tan...».

Стремящиеся к гиперболизации определения стихии ветра, которые вводят польские переводчики, отсылают к более раннему поэтическому творчеству Блока (в циклах «Снега», «Маски», «Фаина» — вьюга действительно бывала чертовой, сильной, заволаживающей), но прежде всего, к его заметкам, публицистическим выступлениям; здесь словно бы используется знание этого контекста. В своей известной статье «Интеллигенция и революция», написанной одновременно с поэмой «Двенадцать» (в январе 1918), заканчивавшейся

широко известным призывом — «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» — Блок сравнивал революцию со стихией, снежной вьюгой, бураном: «Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет, — гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны — теплый ветер — и нежный запах апельсиновых рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга — прохладным северным дождем. "Мир и братство народов" — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать».

Усиливающаяся в поэме вьюга, как и второй важный символ революции — распространяющийся по Петербургу пожар — были в тексте Блока частью образа миметически изображенной реальности. Это перевод — подчиняясь интерпретационной гипотезе переводчика — превратил реалистические элементы природного явления в сверхъестественные, метафоризировав их и анимизировав, насытив элементами негативной аксиологии; лишив их плакатности, которой они обязаны аскетической метонимичности текста, лишив типичности, а в силу этого — многозначности и полифоничности. Перевод сделал амбивалентное очевидным. Приведу еще один фрагмент, хорошо иллюстрирующий этот процесс. Первая часть заканчивается у Блока следующим образом: «Черное, черное небо. // Злоба, грустная злоба / Кипит в груди... / Черная злоба, святая злоба...». Первая строка в большинстве переводов передается верно как «Czarne, czarne niebo», хотя Винавер позволяет себе заменить ее на «Dziwną siność nieba!», Денхоф-Чарноцкий объясняет темноту отсутствием луны («Niebo czarne, bez miesiąca»), а Тушовский изображает черную ночь «spływającą z nieba». Подлинным вызовом для переводчиков оказалась черная и святая «грустная злоба». В переводах она стала: «przygniatająca», «tłocząca», «tocząca pierś wściekłością» (Винавер); «przesmętny gniew» и «rzeka ognia w piersiach» (Войнаровская); «gniew żaloszny, rozsadzający pierś» (Бекер); «tęskliwa złość kipiąca w sercu» (Вроцкий); «ponury mrok, gryząca męka, od której pierś pęka» (Денхоф-Чарноцкий); «nienawistna złość» («Noc czarna spływa z nieba. / A złość! ach, ta nienawistna złość / W piersiach aż kipi — dość jej tam, dość / Tej czarnej, świętej złości...», Тушовский). Разницу между злостью, гневом и яростью можно считать не столь значимой, но то, что определение «грустная» связывается не только с печалью, тоской, мукой, мрачной тьмой, но и с ненавистью, кипящей в сердце, словно в дьявольском котле, вызывает протест, — ход неоправданный, даже если исходить из принципа

максимальной свободы и независимости переводчика. В результате в «польской» версии красногвардейцы предстают едва ли не шизофрениками.

Переводы поэмы Блока представляли собой, как показывает даже поверхностное изучение заключенных в них интерпретаций, серьезное вмешательство в содержание произведения, но прежде всего являлись идеологически-политическим актом, в значительной степени — манипуляцией, при помощи которой текст оригинала подгонялся под историософские убеждения, систему ценностей переводчика и его «патронов». Польские переводы поэмы в межвоенный период стали орудием насаждения определенной точки зрения на политику и историю. Они были чем-то большим, нежели только добросовестной, имеющей целью расширение читательского кругозора, попыткой введения в круг чтения одного из выдающихся произведений русской революционной литературы — они участвовали в политической дискуссии о будущем России, роли большевизма и опасностях, связанных с варварским востоком. Этим, вероятно, и объясняется количество возникших тогда переводов, особенно если помнить о том, что знание русского языка было еще достаточно распространено, и многие могли прочитать поэму в оригинале.

Разумеется, расшифровать идейное содержание произведения, запечатленное в полифонической структуре поэмы, в напряжении между символическим и буквальным смыслами образов, которые выполняют одновременно функцию денотационную и конотационную, было нелегко (удивительно, но даже сам Блок подчеркивал в дневниках и письмах, что не в силах понять образы, возникшие у него зимой 1918 года).

Переводчики, столкнувшись с амбивалентно очерченной идеей, выбирали значение, соответствующее исповедуемой ими идеологии. Идея поэмы обычно выводилась из последней части, которая завершается образом шагающих среди вьюги двенадцати красногвардейцев и Христа, а точнее последней строфы, в которой сосредоточен — как утверждал Юрий Тынянов — «не только высший пункт стихотворения — в ней весь эмоциональный план его, и, таким образом, самое произведение является как бы вариациями, колебаниями, уклонениями от темы конца» (Блок (1921) // Ю.Тынянов.

Литературный факт). Разумеется, последняя строка поэмы и непростой образ Христа уже несколькими поколениями читателей, критиков и переводчиков этого произведения «попортили кровь». По ним, как по кофейной гуще, гадали, желал автор революции поддержать или же предсказывал ее поражение, дистанцировался от новой, революционной, России, варварски преследующей и уничтожающей старый

мир, или же говорил о ней как о грядущем Мессии... Остановимся на польских версиях поэмы, расшифровывающих образ, который заключен в завершающей ее двенадцатой части (не считая анализа образа появляющегося в поэме пса — символа старого мира, фигуры не менее важной и дополняющей бинарную оппозицию: новое — старое, красногвардейцы — буржуи). Это позволит показать, как польские переводчики справились с интерпретацией идейного содержания поэмы или, точнее, как они использовали *double entendre* последней строки; куда поманила/обманула их продиктованная русофобией, царившей в польской культуре, тенденция ориентализации России и демонизации революции, одним словом, насколько далеко они зашли в своих манипуляциях...

Последняя сцена поэмы Блока рисует подвергающуюся метаморфозам пространственную систему — через вьюгу, заволакивающую глаза, шагает отряд красногвардейцев, а где-то «за вьюгой невидим» появляется Христос. В тексте оригинала Христос оказывается впереди, но неизвестно, что это означает — ведет он красногвардейцев или они его преследуют:

«... Так идут державным шагом — Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули
невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью
жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус
Христос».

Во всех польских переводах Христос стоит во главе, ведет группу революционеров:

«...Idą krokiem tak miarowym — z tyłu — głodny, wstrętny pies — A
z sztandarem purpurowym, — I zadymką otulony, I od kul
zabezpieczony, Lekko idąc przez puchowe Przez płateczki: te perłowe,
— W wianku z róż, kryjącym głóg W dal ich wiedzie Chrystus-Bóg».

[Винавер]

«Z władną idą tak powagą — pies za nimi głodem gnan, a przed
nimi z krwawą flagą za śnieżycą niewidzialny i dla kuli nietykalny,
lekką stopą nad wichrzyska śniegopereł rozsypiska w białych róż
odziany wian — a przed nimi — Chrystus Pan» [Войнаровская]

«Potężnym krokiem przed się kroczą. Za nimi biegnie głodny pies.
Przed nimi, hen, z sztandarem krwawym, Wśród zamieci
niewidzialny I od kuli nietykalny, Lekkim krokiem skróś wichurę, I
perłową śniegu chmurę, W wianuszku z białych róż — Na przedzie —
Chrystus — — —» [Вроцкий]

«...Idą, idą władnym krokiem... Głodny pies za nimi bokiem, Przed
nimi — z krwawym sztandarem, Niewidzialny ludzkim okiem,
Oślaniany od kul czarem, Mocniejszy od złej zawieji, W śniegów
perłowej rozchwieji, Jasny światłem wszystkich zórz, Kryjąc w wianku
białych róż Krwawienie krzyżowych ran, Prowadzi ich — Chrystus

Pan» [Денхоф-Чарноцкий]

«...I grzmi rytmicznie krok ich żwawy — (Za nimi pies w rozpacznej biedzie...) Na czele dzierżąc sztandar krwawy, Wśród mgieł kurniawy niewidzialny, Dla kul złoczyńców nietykalny Spowity w pyły zawieruchy, Ledwie trącając śnieżne puchy, W wieńcu z róż białych — krocząc na przedzie, Chrystus szyk wiedzie!» [Тушовский]

«...Władnym krokiem idą żwawo... Poza nimi głodny pies, a na przodzie z płachtą krwawą, za wichurą niewidzialny, i dla kul nieosiągalny, lekką stopą ponadśnieżystą, w dal perlistą i bezbrzeżną, w wieńcu z róż — przez gęsty mrok, Jezus Chrystus niesie krok» [Лободовский]

«...I tak idą para w parę — W tyle skomli głodny pies, A na przedzie ze sztandarem, Za zawieją niewidzialny, I dla kuli nietykalny, Ponadśnieżnym, lekkim krokiem, Skryty lśniących gwiazd obłokiem W aureoli białych kwiatów — Jezus Chrystus — Zbawca światów!» [Беккер]

Как мы видим, амбивалентность финала осталась незамеченной вовсе, переводчики не слышали полифонии звучащих в нем голосов... Так произошло не только в Польше. Максимилиана Волошина возмущала нечуткость прежде всего современного ему российского читателя, упорно твердившего, что речь в поэме идет лишь о Христе как большевистском вожде двенадцати революционеров-апостолов («Поэзия и революция (Александр Блок и Илья Эренбург)», 1919). На самом деле не все так очевидно. Кроме того, многое указывало на то, что произведение Блока может быть прочитано и как мистерия, религиозная драма о неверии в чудо Возрождения, религиозная трагедия об отвержении Бога Россией, русским народом, самим поэтом, или экзорцистский акт над стихией имморализма и вырвавшимся на свободу бесами, апокалиптическая поэма о наступающем «Третьем Завете» (после откровений Старого и Нового заветов), воплощение романтического мифа о победе стихии иррациональности, о неизбежной гибели гуманистической культуры, смерти индивидуальности под давлением масс, апофеоз дионисийской стихии, своего рода карнавал уличной толпы, написанная в духе скифской идеологии картина взрыва дремавших в русском народе варварских азиатских, скифских сил, а отнюдь не только как революционное, политическое произведение. Однако на неудобную неоднозначность часто закрывали глаза; современники Блока — переводчики, критики, литературоведы — охотно забывали о ней, большинство интерпретаторов склонялись или к акцентированию победной роли революции, благословленной Христом, или с ужасом демонстрировали варварство, с которым новый мир и вставшие во главе его пролетарии преследуют Бога и метафизические ценности. Польские переводчики

межвоенного периода, как и первые читатели и русские интерпретаторы произведения Блока, лишая развязку поэмы амбивалентности и полифонии смыслов, переводили последнюю строку, подчиняя ее собственной аксиологии и образу русской революции, которого придерживались ведущие идеологи того времени. Однако во всех тогдашних польских переводах подчеркивалось позитивное отношение к большевистской революции самого автора (как в переводах, обнаруживавших негативную сторону самой революции, так и в тех, которые несколько сглаживали ее демоническое измерение). Но «верхом» манипуляции (за исключением более поздней, скандальной, идеи финала, принадлежавшей Целине Беккер) является в этом смысле предисловие к первому польскому изданию «Двенадцати», в котором переводчик при помощи переведенных им фрагментов поэмы доказывает мысль, автору совершенно чуждую. Речь идет о Кароле Винавере, который убеждал читателей, будто поэма Блока, особенно ее финал, является интересным примером соединения идеи современного социализма и идеи Христа, евангелической теории искупления: «В поэме Блока, в аккордах революционной вьюги сплетаются два мотива: один мотив — это „черный вечер“, кровь, грязь и преступление, другой — светлая новая сила, которая — как говорит поэт — „венчиком из роз“ венчает зло и кровь революции. Идет борьба двух миров. Какая-то новая сила вырастает на кровавом теле революции — силу эту поэт в финале поэмы соединяет с идеей Христа, давая интересный синтез евангелической теории искупления и современного социализма. Это та сила, которая, несмотря на все зло революции — расцветает из ее семян и должна, в конце концов, одержать триумф. — Благодаря ней Россия и все человечество восстанут из пучины. Здесь рождается вечная концепция мессианизма, которую выражает и другой русский поэт, Белый, в поэме „Христос воскрес“, проводя мысль, что Россия рождается в муках, словно новая Назаря, „заря огромными зорями в небе“; поэт даже идентифицирует ее с Христом» (К. Винавер); «Вера в „мировую мистерию“ — вот идейная основа „Двенадцати“, в пучине бушующего океана большевистской революции ищет поэт опоры для своей надежды на триумф истины. И поиски эти в результате приводят его к мессианским мечтаниям» (К. Винавер). Приписывание автору позитивной оценки революции (веры в благословенное, спасительное измерение ее последствий) соответствовало, разумеется, доминировавшим в то время интерпретациям, всеобщему убеждению в пробольшевистских симпатиях поэта (хотя в Польше обычно не принималось во внимание, что блоковский образ революции ближе к эсеровским идеям и социализму движения «Скифов»,

почему и сами большевики сильно сомневались в его правоверности). Попытка соединить революцию с идеями мессианизма и христианства напоминает, с одной стороны, укоренившуюся в польской литературной и философской традиции тенденцию к сакрализации революционных действий и использованию при их описании топики воскресения, искупления, деятельности первых христиан; аллюзия революции с этическим переворотом, внутренним актом (можно вспомнить мысль Станислава Бжозовского, Эдварда Абрамовского или хотя бы «Иисуса Христа в Варшаве» Анджея Немоевского, или даже «Духов» Александра Свентоховского). С другой стороны, он отсылает к характерным для русской традиции интерпретациям, которые я упоминала выше, говоря о «русской канонической модели» изображения революции. Предисловие Винавера, уподобляясь по духу словам Андрея Белого о революции как мировой мистерии, очень напоминало текст, написанный одним из главных идеологов русского скифства Ивановым-Разумником для петербургского издания поэмы в 1918 г.: «"Двенадцать" — поэма о революционном Петербурге конца 1917 — начала 1918 года, поэма о крови, о грязи, о преступлении, о падении человеческого. Это — в одном плане. А в другом — это поэма о вечной, мировой правде той же самой революции, о том, как через этих же самых запачканных в крови людей в мир идет новая благая весть о человеческом освобождении. Ибо ведь и двенадцать апостолов были убийцы и грешники». Акцентирование мистического характера революции 1917 года представало у автора предисловия производной одной из главных идей скифского движения, лидером которого был Иванов-Разумник, убеждения, что революция является началом нового Царства Божия на земле, подлинным освобождением человечества, несмотря на то, что ее истоки умыты кровью, полны насилия и грязи; убеждения, что она позволит России выполнить свою миссию по спасению мира, всех народов от западного рационализма, от мещанской, капиталистической, бездумной и мертвой европейской цивилизации. Введение Винавером в свою интерпретацию мотива мессианистских мечтаний автора позволяет предположить, что переводчик был прекрасно знаком также с творчеством Соловьева — контекстом, в котором зачастую рассматривалось творчество Блока. И это весьма существенно для восприятия поэмы: широко известные «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» 1900 г. о втором пришествии Христа, Божьем суде и появлении в России Антихриста и несколько более раннее «Оправдание добра» (1897), развивающее мысль о приближающейся войне Европы с

монгольской Азией, в значительной степени повлияли на понимание «Двенадцати», которые нередко прочитывались словно бы в тандеме с последним произведением Блока — «Скифами». Этот текст, явно политизированный, уже однозначно интерпретировался как воплощение духа русского, антиевропейского большевизма, даже если не в его партийном варианте, а «лишь» как выражения глубинного состояния русского духа, в котором слиты воедино славянофильство, апофеоз собственного варварства перед лицом прогнившего Запада, чисто русская анархическая антигосударственность. Представленная в «Скифах» идея панмонголизма, к которой отсылает скифское движение (движение Иванова-Разумника, близкого ему Белого, Есенина, Клюева), сильно повлияла на восприятие «Двенадцати» как поэмы революционной. Однако, как уже говорилось, поэма Блока напоминала о себе не только переводами. К этому произведению — словно к иконическому знаку, символу русской революции — часто отсылали польские художники. Они черпали из него сюжеты, фразы, «переписывали» сценарий «Двенадцати» в собственных произведениях, использовали аллюзии с отдельными образами, писали на основе поэмы собственный текст. Среди мотивов, в наибольшей степени вдохновлявших межвоенных художников — прежде всего, разумеется, апокалиптическое завершение поэмы, где в демонически представленном Петербурге возникает едва различимый среди вьюги Христос с красным флагом. Многие говорят в пользу того, что фигура Христа, появляющегося в городе, встающего рядом с пролетариями, и образ снежной вьюги, обезумевшей природной стихии как наиболее точного выражения атмосферы эпохи надежды, хаоса и беспокойства, атмосферы конца старого мира и начала новой эры в истории человечества — были элементами, которые в массовом восприятии связывались именно с поэмой Блока. Сам Стефан Жеромский, отнюдь не настроенный позитивно к (такого рода) влиянию русской литературы, замечал, что происхождение этого образа (т.е. фигуры Христа) все чаще появляющегося в польской поэзии, следует связывать с влиянием русской литературы («Снобизм и прогресс»). Конечно, саму практику сопоставления библейских мотивов с современным промышленным ландшафтом, проведение параллели между христианской и социалистической революцией, как и образ Христа — пролетария, голодного паупера, бунтовщика, лидера толпы рабочих, все эти радикальные мировоззренческие идеи, которые вслед за Гжегожем Газдой я бы назвала «евангелическим марксизмом» («Футуризм в Польше», Вроцлав, 1974) — сводить к проблеме влияния поэмы Блока и популярности скифского движения нельзя. В данном случае

она связана также с воздействием русской послереволюционной поэзии в целом и русской крестьянской поэзии (следует помнить о роли таких известных в межвоенной Польше художников, как, прежде всего, Маяковский, Белый, Алексей Гастев, Василий Казин и еще несколько поэтов из круга Пролеткульта, Есенин, Клюев, Рюрик Ивнев, Александр Оленин или Петр Орешин). Однако не следует недооценивать и феномен необычайной популярности блоковской поэмы. Эти перенесенные в общественно-политическую реальность евангельские мотивы, особенно фигура Христа — безусловно живо резонировали в сознании тогдашних читателей с Христом из многократно переведенных на польский язык «Двенадцати». Ведь читатели сборников Стерна «Ангельский хам» (1924) или «Бег к полюсу» (1927), глядя на Христа-литейщика (стихотворение «Путь колес»), Христа «среди толп, которые всколыхнуло новое явление», шагающего «среди урагана полифонии города», «самого опасного революционера в мире» («Исповедь») — наверняка прекрасно помнили блоковского Христа в «венчике» из белых роз среди красногвардейцев. Наверняка подобным образом обстояло дело с корреспондирующим с Блоком и Брюсовым образом городского Христа в стихах Тувима или Христом из «Песни о голоде» Ясенского, которого «кулаками, палками забили, зарубили» «черные ободранные люди, чьи руки знали лишь мастерок да лопату».

Апокалиптическая «метель» из блоковской поэмы — с разгулявшейся снежной стихией, всемогущим ветром и Христом, чье присутствие дарует моральную санкцию, придает высший смысл реальности «более низкого» уровня — очевидным образом отразилась во многих произведениях польской литературы. К ней отсылает, например, Ясенский в финале поэмы «Город. Синтезия»; правда, в его версии вместо Христа в мире проституток и кафе-шантанов является Мадонна, Дева многомудрая, однако образ злой и холодной ночи в городе, проливного дождя; сопутствующие изображаемым скандалам крики (вся гамма проклятий, а особенно восклицаний вроде «Что за время!!; Что за жизнь!...; Во имя Отца и Сына!!; А это что?!; Холод!; Что за доля!...»), заставляющие вспомнить убитую революционерами блоковскую проститутку Катюку фигуры утопленных, изнасилованных или убитых молодых женщин — все эти детали позволяют говорить о явных реминисценциях поэмы Блока. Возможную аллюзию с последней частью «Двенадцати» Блока можно увидеть также в финале «видения» Чеховича:

бронза грохочет окрест
свет дает трещину блещет

мысли астральные материки
понятия формы святынь маяки
валятся валунами

и вдруг
крест
(Перевод И. Белова)

Следует также сказать о том, что образы эти поистине овладели воображением польских авторов. Об их вдохновляющей силе свидетельствуют также появившиеся уже после войны стихи и поэмы Константы Ильдефонса Галчинского, Ярослава Ивашкевича, эссеистика Евстахия Рыльского. В качестве примера приведу такие произведения Галчинского, как «Цветы на рельсы» (где революция предстает «Девой многомудрой» и «Солнцем справедливости») или «Малая симфония подсвечников» или «Перед зажжением елки»:

Шли
рабочие
вдоль улиц,
шли и пели,
не сутулясь.
Практики, не теоретики,
шли, дымили табачком,
ну, а мы, интеллигентки,
мы все боком да бочком.
Честь по чести — нам бы вместе
зашагать бы в новый век...
Нет контакта, братцы, так-то.
Да вдобавок этот снег.

(«Малая симфония подсвечников», 1947. Перевод И.Белова.)

Вьюга, вьюга на божьем свете,
на всем белом свете вьюга.
Снег, говорите? Вы лучше ответьте —
что такое, по-вашему, вьюга?
Страх? Вам не справиться с перепуга
с эдаким страхом.

(«Перед зажжением елки», 1947. Перевод И.Белова.)

Стоит также обратить внимание на стихотворение Ивашкевича «Мороз» из послевоенного сборника «Завтра жатва» (1963) или стихотворение «И от границы уже приближаются», вводящее еще один образ, связываемый обычно с «Двенадцатью» — обильного снегопада и бредущего за

красногвардейцами (у Ивашкевича это охранник с автоматом) худого бедного пса, символизирующего в поэме Блока старый мир.

Можно перечислять и дальше, особенно если принять во внимание присутствие и воздействие также другой, связываемой с «Двенадцатью» поэмы Блока, ярко рисующей образ конца Европы, завоеванной желтой расой — «Скифов». К ней охотно отсылали польские футуристы, скифские сюжеты можно найти в поэзии Юзефа Лободовского (в том «Демонам ночи»); в поэме Анатоля Стерна «Европа», в его стихотворении «Солнце в животе»; «толпу гуннов» мы обнаружим в «оврагах времени» Чеховича из сборника «день как любой другой»; о «пританцовывающем шаге революции» писал Ясенский в «Песни о голоде»; о топоте приближающихся с Востока варваров — Владислав Себыла в стихотворении «И снова топот ног солдатских...»; картину грядущего уничтожения «прогнившего материка Европы», близящегося «грохочущего уничтожения» рисовал в стихотворении «К Европе» из сборника «Океанида» (1922) Ежи Браун; образ узкоглазого скифа запечатлел Вежиньский во «Дворце» из «Трагической свободы»...

Другой вопрос, связанный с рядом сложных идеологических споров, в частности, о закате европейской культуры, западной цивилизации и опасностях, порожденных распространяющимся большевизмом, — присутствие данной проблематики в прозе и публицистике межвоенного периода (проблематика эта, впрочем, уже освещалась во многих работах). Следует также добавить, что польские поэты и после войны отсылали к поэме о скифах — см., например, такие произведения, как «Славяне» (1948) Галчинского (с припиской «подражание А. Блоку»); или «Азиаты» (1970) Ивашкевича. Отметим, однако, что польский диалог со скифской темой, идею скифства нужно рассматривать в более широком контексте возрождающегося в России рубежа XIX–XX вв. славянофильства, ведь эти мотивы появились не только у Блока, но и в творчестве других символистов — Бальмонта, Иванова, Сологуба, Брюсова, Белого. Но это тема для самостоятельного исследования...

Статья написана в рамках проекта «„Взгляд искоса...”. Русская культура и литература глазами поляков (на материале польских журналов межвоенного периода). Библиографическая Интернет-база данных и собрание избранных публикаций», финансируемого Национальным центром науки (проект № 2012/07/E/HS2/03861).

1. Оба изданы в Вильно: Shneymasar. Поема, Tigrid Tal, Wilna 1929; Дванаццаць, пер. І.Гудок [псевдоним И. Дварчанина], Вильно 1926.
2. S. Rogoż, O «bolszewickim» poemacie Aleksandra Błoka. «Przegląd Współczesny» 1923, z. 14.
3. Kronika: Przekłady i studia z literatur obcych. Literatura rosyjska, „Przegląd Warszawski” 1922, nr 4. dia z literatur obcych. Literatura rosyjska, „Przegląd Warszawski” 1922, nr 4.
4. [A.Lange?] «Błok Aleksander» w: Encyklopedia powszechna „Ultima Thule”, red. S.F.Michalski, T.2. Warszawa 1931.
5. J.Kucharzewski, Od Białego Caratu do Czerwonego, T.2, cz.1: Geneza maksymalizmu, Warszawa 1925.
6. Sz. Karolski, O „Dwunastu”, wstęp w: A. Błok, Zwelf, przeł. A.Kacyzne, Warsche 1920. Автор статьи пользуется предоставленным ему в частном порядке переводом Марка Тушевицкого.
7. A.Galiński [właśc. L.Stolarzewicz], Poezja Polski Odrodzonej 1918–1930. Obraz twórczości poetyckiej doby współczesnej, Łódź 1931.
8. W. Radziwonowicz, O współczesnej literaturze rosyjskiej. Rewolucja i poezja, „Rzeczpospolita” 1922, nr 107.
9. Jakubowicz, Na czerwonym Parnasie, „Kurier Polski” 1924, nr.176.
10. M.Weronicz, Literatura Rosji dzisiejszej, „Kurier Polski” 1920, nr.93, 99, 106.
11. S.Kułakowski, Aleksander Błok a Polska, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 37. Не следует забывать, что Христос, появляющийся в последнем фрагменте поэмы, ассоциировался у Кулаковского с Христом из «Небожественной комедии» Зигмунта Красиньского, русский перевод которой был опубликован в символистском московском «Скорпионе» еще в 1904 году.
12. B.Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu, Wilno 1933.
13. A.Brückner, Literatura rosyjska, wzb.: Wielka literatura powszechna, red. S.Lam, T.4; Literatury słowiańskie, Literatura bizantyjska i nowogrecka, Warszawa 1933.
14. S. Pazurkiewicz, Aleksander Błok, „Kurier Literacko-Naukowy” 1926, nr. 45.
15. K.W.Zawodziński, Z ruchu literackiego w Rosji, Przegląd Warszawski 1922, nr 3.
16. В.Шкловский. Письменный стол // Гамбургский счет:

Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933), Москва 1990, с.175.

17. В тексте по-русски. — Примеч. пер.
18. В тексте по-русски. — Примеч. пер.
19. Говоря о переводе как о «переписывании» оригинального текста, я использую понятие «rewriting» так, как понимают его теоретики транслатологии (translation studies), например, А. Лефевр.
20. Как замечает Ш. Тагир Гюрчаклар (*The translation bureau revisited: Translation as symbol. W zb.: Apropos of Ideology: Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies*, ed. M. Calzada Pérez, Manchester 2003, s. 113): «Перевод является политическим актом, так как и само действие, и продукт этого действия представляет процесс переговоров между разными агенсами. На микроуровне такими агенсами являются переводчики, писатели, критики, издатели, редакторы или читатели».
21. Ch. Schäffner, Skopos theory, w: Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker, London 1998.
22. Поэма «Двенадцать» сохранила свою популярность и в послевоенный период. Всего ее переводили в Польше более двадцати раз (полных переводов было опубликовано тринадцать). При этом следует заметить, что история восприятия этого произведения в период ПНР представляет собой необычайный интерес, и ожидает своего исследователя, который посвятит ей более подробный и глубокий труд.
23. В тексте по-русски. — Примеч. пер.

«Мы строим канал» история одного необычного романа и его автора

Среди рассказов, воспоминаний и свидетельств, описывающих пребывание в советских лагерях и ссылках, особое место занимает роман Витольда Ольшевского «Мы строим канал. Воспоминания начальника отдела планирования». Изданная в Риме «Польским издательским домом» 70 лет назад, в 1947 году, эта книга была своеобразной попыткой преодолеть травму, нанесенную столкновением с советской цивилизацией. Роман на фоне выходящих в то время текстов отличали авангардная, полная иронии и горького сарказма форма^[1], использование гротеска для представления вымышленного мира — земного шара, где господствует СССР и «незрелые элементы Цейлона, Аргентины ну и, конечно, многих других стран с восторгом перестраивают свою психику и все увереннее становятся на рельсы советского пути»^[2].

В 1948 году книга занимала третье место среди бестселлеров, продававшихся в парижском книжном магазине «Либелла». Его владелец, Казимир Романович, писал: «Очень много читают также современных писателей, по мере убывания популярности — это Ванькович со своим «Знойным сентябрем» и «Битвой за Монте-Кассино» и «Мы строим канал» Ольшевского»^[3]. Книгу тепло приняла критика, в том числе Юзеф Чапский, Дорота Обухович (псевдоним Марии Чапской) и Юзеф Мацкевич. Все они подчеркивали исключительность этой прозы не только с точки зрения конструкции, фантастических сюжетных ходов, но и специфического языка.

Первая версия книги, созданной бывшим узником Северных железнодорожных лагерей в Республике Коми, была написана по-русски, а вернее — по-советски.

В польской истории литературы об ее авторе, Витольде Ольшевском, можно найти лишь упоминания. Долгое время была известна ошибочная биографическая информация, повторяемая вслед за Марией Чапской, написавшей в 1963 году, что фамилия создателя повести Кемпиньский^[4]. Иногда рядом с этой фамилией появлялось имя Станислав^[5]. Некоторые

исследователи считали, что Витольд Ольшевский — это не псевдоним, а настоящее имя автора, или путали его с однофамильцем — журналистом Витольдом Ольшевским, который до Второй мировой войны был связан с лагерем национальной демократии, а после войны выдавал «Новины».

Изучение архивных и библиотечных материалов, а особенно находка части машинописи в лондонском Польском институте и музее Сикорского^[6], позволили мне установить настоящее имя писателя и восстановить некоторые детали его биографии. Настоящее имя Витольда Ольшевского — Ростислав Кемпиньский, во время Второй мировой войны он в звании капитана служил во 2-м корпусе Армии генерала Андерса.

Ростислав Кемпиньский родился 5 февраля 1907 года во Владивостоке, был старшим сыном обрусевшего поляка Александра Кемпиньского и русской с украинскими корнями Марии Рой. Александр Кемпиньский был по образованию инженером и занимался железобетонными работами во Владивостокской крепости. С 1916 года Кемпиньские постоянно переезжали, постепенно передвигаясь с восточных пределов России к ее западным рубежам. В 1919 году семья оказалась в Польше, недалеко от Волыни, позднее переехала в Лодзь. После того, как политическая ситуация в Польше стабилизировалась, отец Ростислава устроился на работу в дирекцию Виленской железной дороги.

Тем временем будущий писатель учился в гимназии (вначале в Седльце, потом в Белостоке). В 1925 году он получил аттестат зрелости и поступил на механический факультет Варшавской политехники. Финансовой помощи со стороны родителей не было, и ему пришлось во время учебы зарабатывать на жизнь самому. Это и другие обстоятельства привели к тому, что Кемпиньскому пришлось прервать обучение. В 1929/30 году его призвали в армию, где он закончил Школу подхорунжих резервов пехоты в Кракове. В мае 1931 года, бросив очередной вуз (краковскую Горно-металлургическую академию), Кемпиньский решает связать свое будущее и профессиональную карьеру с армией. Положительные, можно сказать, блестящие рекомендации, полученные после прохождения воинской службы, позволили ему подать документы в Инженерную школу подхорунжих в Кракове. Трехлетнюю школу подхорунжих, которая готовила офицеров связи для польской армии, Кемпиньский закончил успешно, занимая высокое пятое место в списке выпускников. После окончания обучения в военной школе будущий писатель по распределению был направлен на службу во 2-м батальоне железнодорожных мостов и принимал участие в

подготовительных работах, проводившихся на территориях предполагавшейся атаки немцев. После начала Второй мировой войны Кемпиньский вместе с польской армией отступал в восточном направлении в составе запасного состава Железнодорожного батальона. 23 сентября в Ковеле он был арестован солдатами Красной армии. Подкупив тюремного охранника, он благополучно бежал и, избавившись от солдатского мундира, начал пробираться на юг. Однако в ноябре 1939 года Кемпиньский был вновь арестован советскими спецслужбами при попытке пересечь венгерскую границу. Вначале его поместили в лагерь, а потом перевели в тюрьму в Днепропетровске.

Сняв погоны, Кемпиньский отказался от своей прежней личности и после ареста начал выдавать себя за Витольда Феликсовича Ольшевского, 1905 года рождения, «выходец из рабочей среды, сам рабочий (...) хочу отметить, что я назвал себя машинистом-железнодорожником Ольшевским»^[7]. Следствие продолжалось до начала марта 1940 года, все это время его постоянно унижали, вынуждая признаться в сотрудничестве с польской и немецкой разведкой. Он прекрасно владел русским языком, поэтому следствие решило, что он является «белым офицером». Обвинение — совершенно абсурдное, если принять во внимание возраст Кемпиньского/Ольшевского (год рождения 1905 или 1907).

Главным предъявленным обвинением была, однако, попытка нелегального пересечения венгерской границы, за что его приговорили к пяти годам трудовых лагерей. К месту наказания — в Северный железнодорожный лагерь (Севжелдорлаг) в Коми АССР — Ольшевского отправили где-то в конце июля — начале августа 1940 года. Там он провел больше года, а после объявления амнистии согласно договору Сикорского-Майского в сентябре 1941 года, в окрестностях Бузулука он вступил в ряды формирующейся Польской Армии на Востоке. Благодаря довоенной службе в профессиональной армии, офицерскому званию и образованию Кемпиньского (при вступлении в армию он вернулся к своей настоящей личности) назначили капитаном в 10-й саперский взвод. Вместе с Армией Андерса он прошел весь боевой путь, в мае 1944 года принял участие в битве за Монте-Кассино. Во время службы в Армии Андерса он написал роман «Мы строим канал. Воспоминания начальника отдела планирования» и более десяти рассказов. После неудачных попыток опубликовать свою книгу по-русски, как она первоначально была написана, он сам перевел ее на польский, оставив целый ряд советизмов, инкрустировавших это необычное повествование и придающих ему неповторимую форму. Его остальные

прозаические произведения никогда не публиковались, и лишь в 2016 году стараниями автора этой заметки были привезены в Польшу и переданы в Архив эмиграции в городе Торунь. В 1948 году, пребывая в Великобритании, Кемпиньский демобилизуется и остается в эмиграции. Писатель решает покинуть Англию и вместе со своими двумя детьми (Алессандрой и Джорждем Эдвардом) и их матерью (Марией Хрынаковской) садится на корабль «Mabel Ryan», который в июле 1948 года прибывает в Бразилию. В этой стране он остается до конца своих дней. Вначале Кемпиньский не мог найти работу по специальности, но спустя несколько лет ему удалось устроиться в фирму IBM, где он работал до пенсии, на которую вышел в 1974 году. В эмиграции Кемпиньский не написал ничего нового, но до самой смерти в 1977 году предпринимал попытки опубликовать переводы на английский, португальский, шведский и др. языки своего первого, так тепло принятого когда-то критиками, романа. Особенно ему хотелось, чтобы книга вышла в оригинальной версии — по-русски. В его записках я нашла упоминания о том, что по этому вопросу он пытался связаться с Владимиром Набоковым и Александром Солженицыным. Представленный ниже фрагмент, озаглавленный «Московские приключения Коваленко (из тюремных записок)», в романе «Мы строим канал» был опубликован как отдельная глава и представляет собой нечто вроде рассказа в рассказе. Сегодня трудно однозначно ответить, был ли этот фрагмент действительно задуман как часть романа или же это был один из ранних рассказов, который Кемпиньский лишь позднее решил включить в свою книгу. Этот рассказ, кроме того, что саркастически представляет механизмы власти в Советском Союзе, очень интересно и новаторски рассматривает проблему человеческой сексуальности и влечений, определяющих наше поведение. Кемпиньский до конца своих дней не отказался от принятого когда-то лагерного и писательского псевдонима. В 1974 году в письме Александру Солженицыну, которого он просил помочь издать книгу по-русски, Кемпиньский писал: «При благоприятном обороте дела, я останусь при своем псевдониме — под ним я провел два года в Союзе, и я не хочу афишировать свое имя и фамилию по целому ряду причин. Мой псевдоним и я — это одно целое, он — мой свидетель»^[8].

-
1. Подобным образом конструируется повествование о столкновении с советской цивилизацией в прозе Зощенко, Платонова, позднее — у Войновича. В изобразительном искусстве попытки рассказать о тоталитаризме с помощью

гротеска появились позже, в частности в графическом романе «Маус. Рассказ выжившего» Арта Шпигельмана (1992) или в фильме «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини (1997).

2. Witold Olszewski, *Budujemy kanał. Wspomnienia kierownika biura planowania*, PDW, Rzym 1947, s. 13. В 2014 году книга была переиздана в издательстве «ЛТВ Ломянки», которое повторило за первым изданием ошибочные биографические данные писателя. Благодаря моему вмешательству и стараниям дочери писателя Алессандры Кепински издательство разместило на своем сайте опровержение.
3. Kazimierz Romanowicz, *Księgarnia na emigracji*, „Kultura” 1948, nr 14.
4. В русской транскрипции исчезает разница между ошибочной версией Kempinśki и настоящей фамилией писателя Kępiński — Примеч. пер.
5. См. *Polacy w ZSSR (1939–1942): antologia*, pod red. Marii Czapskiej, Paryż 1963, Maria Danilewicz–Zielińska, *Szkice o literaturze emigracyjnej*, Wrocław 1992, *Więźniowie nocy. Wypisy z polskiej literatury łagrowej*, wybór i opracowanie: Roman Mazurkiewicz, Kraków 1991.
6. Найденная мной машинопись содержит 18 первых страниц романа и сопроводительное письмо, в котором указаны настоящие данные автора и подчеркивается, что В.Ф. Ольшевский — это художественный псевдоним.
7. Анкета № 9455, Гуверовский институт Стэнфордского университета, Коллекция Владислава Андерса.
8. Черновик письма Александру Солженицыну с 1974 года.

Московские похождения тов. Коваленко (из записей в тюрьме)

Шлифовали на заводе им. Петровского коленчатый вал для подводной лодки. Работа тонкая и без алмазного порошка никаким образом не обойдешься. Закончили работу. Конечно, собрание в шлифовальном цехе и выступления рабочих и техперсонала:

— Освоили, мол, шлифовку коленчатых валов крупного калибра, начали работу для нашего доблестного Красного флота и т.д. Выступал мастер, бухгалтер дал отчет по стоимости нового рода продукции, директор сообщил о своем предложении, представленном им в Совнарком, наградить коллектив шлифовщиков орденами Трудового Красного Знамени. Евдокимов, как самый старший рабочий завода, рассказал товарищам как он штурвал для «Потемкина» в этом же цехе обрабатывал и что революционное направление «Потемкина», так сказать, из-за пролетарского пота его, Евдокимова, получилось...

Большой подъем духа образовался. Бригада шлифовальщиков тут же приняла на себя обязательство выполнять сменное задание по крайней мере на 175% и вызвала на соревнование кузнечный цех (как раз октябрьские подходили). Потом еще Краснофлотцы, что на праздник приехали (наш завод подшефным линкора «Марат» был) тоже кое-что сказали, что, мол, этим коленчатым валом, врагов пролетариата и социалпредателей в шею и т.д. — хорошо было и по-советски. Только на завтрашний день электровоз из контроля приехал вал этот самый на проверку забирать, укладывают его на подставку — не помещается. Товарищ Дюймовкин стоит, затылок почесывает и на маленькой линейке что-то прикидывает.

— Невозможно, говорит, у нас, в бюро контроля, ошибок не полагается и саботажем мы до сих пор не занимались! Товарищи, да, подставка у меня в микрон рассчитана, а ежели вал этот, коленчатый, достижение, можно сказать, мировой советской техники, не помещается, значит дело темное! Сказал он это и третий интернационал, глядячи на вал, насвистывает. Прибежал директор и главный инженер, комиссара вызвали, меряют: точно, выходит на 0,1917

миллиметра короче, чем по проекту положено; понимаешь, на 0,1917 миллиметра — это вроде 1917 год — вот вам память революции получилась! Дело громкое, заказ сдать надо. Собрали, конечно, опять производственное совещание. Оказалось, сталь есть, выковать в любой момент можно, обточка тоже пройдет, а вот из шлифовки ничего не выйдет — нет алмазного порошка и только в Госбанке, в Москве, его получить можно.

Кончил разъяснение завшлифцеха, сел и — заплакал:

— Пропали мы, ребята, принесли мы себя в жертву революции!

А тут, как нарочно, радиодепеша от Наркомфлота приходит:

«Всему Коллективу краснофлотский привет точка благодарю за четный труд точка контрадмирал Ежиков точка».

Ребята слушают и головы опустили:

— Правильно написал, шепчут, кому-то определенно «точка» будет. Тут Коваленко и начал действовать.

— Ежели такое дело, я помогу, будет алмазный порошок! — сказал и сел. Тишина, только директор встал и Коваленко:

— Пошли!

Приходит в кабинет, директор в стенке шкафчик открыл и спрашивает:

— Сколько?

Коваленко подумал, посчитал, все учел: билет, гостиница, шубка для жены, сережки для Фени, да и Соньку нельзя обидеть и говорит:

— Дай пока тысяч сто, потом видно будет.

Посчитал билеты, в поезд сел и покатил в Москву.

Ехал скорым, плацкарт взял — по дороге уже показалось ему в мягком тесновато, в общем и плацкарт не особенно пригодился — все время почти в ресторане просидел, умные беседы вел, интересных людей встретил, а кроме того «Московская особая» по твердым ценам в неограниченном количестве очень в путешествии помогала. Так два дня прошло. Километров за сто до Москвы все начали в окошки глядеть — кто первый Дворец Советов заметит? Коваленко и тут повезло, точно направление указал; по этому поводу опять выпили маленько, а тут уж и Центральный вокзал.

Вышел из вагона — сразу почувствовал, что в столицу рабочего класса приехал! Перроны светом залиты, по радиосети диспетчеры орут, паровозы свистят, милиционеры движением пассажиров управляют; в зал зашел — официанты во фраках, галстуки белые — культурно! Вот до чего мы дожили! Съел тарелку супа, вином запил, подкрепился немного после дороги и в метро направился. Сошел по мраморной лестнице, другим человеком стал! Правда, и раньше приходилось ему в Москве бывать, но не та она когда-то была! Теперь видно живет народ

зажиточно, одежда приличная, легковых одних тысяч пять перед вокзалом стояло! А метро одно чего стоит! И подумать только, достижение крупное и трудоемкое, а ведь почти вся работа вольнонаемным составом проделана, даже обидно стало, как это Коваленко сказал: мрамор наш брат, лагерник, ломал; сталь, то есть, руду, тоже, так сказать, за горбушку произвели, а вот изделие до столицы докатилось и здесь извините! — вольнонаемный состав соревноваться будет! Понимаю, «Интурист» и всякое такое, а все же обидно, одно утешение, говорят будто Дворец Советов прелиминария не выдержал и все больше бытовичками создавался.

Сел Коваленко в метро. Тут тебе и электросвет, и цветы, и коврики, плюнуть даже некуда, не то что окурок бросить! Таким путем минут через 15 очутился он на Красной площади. Посмотрел, на Кремле звезды горят, мавзолей Ильича под Кремлевской стеной, людей толпа, троллейбусы дуют во всю — живет Белокаменная!

Нашел гостиницу со швейцаром договорился, пацаненок подскочил, чемоданчик взял и давай с ним куда-то в сторону. Коваленко так и ахнул!

— Милиция, уркач чемодан спер!

А швейцар ему на это:

— Коль скоро вы себя в приличном государственном предприятии, товарищ, вести не умеете, разрешите предложить вам освободить фойе, а чемоданчик сейчас же в нетронутом виде вам доставим, — сказал и давай кнопки какие то нажимать. Действительно, минута не прошла, как красная лампочка загорелась и лежит Коваленкин чемоданчик перед ним — по внутреннему транспортеру доставили, оказалось! Осознал Коваленко провинциальную отсталость, кое-как швейцара сблатовал — а все-таки саквояж сам взял и давай на лестницу. Идет, только ногу на ступеньку поставил, тут ему перед носом разъяснение:

«Товарищ рабочий, берегите сердце, оно нужно Стране и Коммунизму — пользуйтесь лифтом!»

Слыхал Коваленко, есть такая машина, но пользоваться не пришлось до сих пор — посмотрел по сторонам, светоуказатели заметил «к лифту», так по ним к месту назначения и попал.

Красота! Хром (не тот, что когда-то сапоги делали, а этот, металл) и зеркальное стекло; берет за ручку, войти в этот самый лифт хочет, да вдруг записочку на двери заметил:

«Очередной контроль оборудования — пользуйтесь лестницей». Коваленко не по себе, собственно говоря, кое-что сказать бы следовало, да оборудование в зале очень сложное, неизвестно где услышат и неприятность может быть. Пошел потихоньку к лестнице опять, минут двадцать подымался — высоко, ему комнату на четырнадцатом этаже отвели, зато в

номер пришел — ахнул! Уже как дверь открывал, сразу запах знакомый почувствовал — неужели, подумал, все удобства на месте обеспечены? Приоткрыл дверцу, что с правой стороны была, верно! Все на месте и в исправности — ручку потянул, в трубах зашумело, значит водопровод действует, подождал немного, опять потянул, опять зашумело; убедился, что оборудование можно эксплуатировать несколько раз, и бесперебойность работы его обеспечена вполне. А что запах — так это ерунда — не такие запахи нюхали, а ведь живем! Дальше идет, в комнате кровать двуспальная, матрац проверил, есть, как следует, настоящая морская трава; стол тоже есть, на столе пепельница; свет включил, туда-сюда посмотрел, клопов незаметно — в этом убедился, когда одеяло поднял; белье, заметил, тонкое и чистое, правда, в употреблении было — видно спал кто-то на нем и даже по некоторым признакам, пожалуй, с бабой, но в общем — чистенькое. Раскрыл чемоданчик, умыться после дороги хочет, вдруг слышит, в дверь кто-то стучит? «Да!» — говорит; дверь открылась и девчонка, так лет восемнадцати, по форме одетая входит. — Это вы ко мне, товарищ? — спрашивает Коваленко. — Да, я здешний работник, разрешите белье переменить? — Пустяки, не стоит, совсем ведь чистое, я проверял; правда видно, в употреблении кроватка была, но это ничего — вкуснее спать будет! Смотрит, а девчонка будто покраснела и голову отвернула: — Вы, товарищ, правы, была в употреблении постель, но всего лишь один раз, это мне точно известно.... Сообразил Коваленко в чем дело и сразу: — Ну в таком случае и во второй раз воспользоваться попробуем! — Дверь запер и все. Часика через четыре вышли в город вместе, Нюра дежурство сдала, решили вместе пошамать пойти, а потом — видно будет! Вышли на тротуар, Нюра и говорит: — Незачем нам далеко ходить — напротив здесь ресторан есть, для западников предусмотрен, «Сакко и Ванцетти» называется, зайдешь, сам убедишься: до пяток нам западные республики не доросли, увидишь! Правду сказала — первым долгом раздели их и номерок дали, потом пацан подскочил, сапоги чистить хочет — что-то непонятно Коваленко, боится, что отражение его пролетарской физиономии в начищенных сапогах искривленным получиться может, да тут Нюрка подросла: — Не стесняйся, это не частник, здесь артель этим делом занимается. — Разъяснила сомнения, сапоги будто почувствовали, что не эксплуатация человека человеком их чистила, а честный труд, без прибавочной стоимости, и заблестели, как никогда! Пошли в зал, зеркала, серебро и фарфор! Народ разный, все

больше бывший заграничный элемент настоящей социалистической культурой наслаждается. Сели и наши за столик — три официанта как из-под земли выросли и бумагу под нос суют...

— В чем дело, товарищи, заем, что ли это — если на седьмую пятилетку, так я уже добровольно и наличными тыщу пятьсот рублей внес. — Тут Нюрка заем этот самый взяла и на сапог Коваленко наступила — «перестань, мол». Взяла Нюрка бумагу и рассматривает ее, даже пальцем водит и ногтем что-то подчеркивает — а ноготь красный, что твое знамя пролетарское... Наконец, заявляет:

— Для нас, товарищ директор, крем-брюле, котлеты и компот, а потом — шампанское!

— Крымское или французское?

— Конечно, французское!

Коваленко сидит и глазам не верит, а Нюрка ему: «Ты мужик хороший, а вот в столице Советского Союза, давно не бывал — это сразу видно!»

Принесли заказ, Нюрка котлету ковырнула, позвала официанта, заявила ему претензию, что, мол, «ножи в вашем ресторане тупые», отодвинула тарелку с котлетой, компота хлебнула и давай на жидкость нажимать, на алкоголь, то есть — раздавили они эдак бутылочки две с половиной. Девушка разыгралась: «Я честная комсомолка, нечего мне советский желудок французской дрянью портить — официант! Давай «Московскую особую!»

Принесли водочку и ветчину на закуску, правильно выпили, потом еще лезгинку танцевали, кто-то что-то про район говорил, только проснулся Коваленко у себя в номере, ничего понять не может — рукой пощупал кругом — будто лежит кто-то с ним в кровати и видно баба, а жена ведь дома осталась, а он в Москве... Наконец, вспомнил, да и соседка бормотать начала: «Ты, говорит, мужик хороший, только редко в столице Советского Союза бываешь... а я... комсомолка честная!»

Проснулась наконец, тоже сперва сообразить ничего не могла, почему-то Сеней его назвала, а он не Сеня, а Миша, потом улыбнулась и извиняется.

— Прости за ошибку, не обижайся — Сеня тоже хороший парень был, он перед тобой в этом номере стоял; а все-таки погуляли правильно, главное к себе на производство попали, у меня, правда, выходной сегодня, да так лучше — никаких подозрений насчет прогула не может быть!

Привела себя кое-как в порядок и заметила, что Коваленко смотрит на нее, насмотреться не может — поняла в чем дело и говорит:

— Времени много, ежели такое у тебя, товарищ, желание — продолжать можем, я на свою вахту завтра только выхожу.

Принял Коваленко вызов и задержались еще часиков на несколько — не проявил он в этом случае «провинциальной отсталости» — удивилась даже Нюрка. Вечер, однако, подходил, а у него дела были — надо было в город идти. Начал от парикмахерской. Обделали его там электроэнергией, выстригли как следует, шею ровненько подбрили, подравняли брови, даже голову вымыли! Встал с кресла, прямо не узнал себя. Задумываться не над чем было, дует прямо во вчерашний ресторан — помнил, что сблатовал там официанта насчет знакомства с кем надо. Зашел, опять сапоги ему почистили и в зал ведут... Сел за столик, дожидается. Подошел вчерашний знакомый и показывает, так столика через три...

— Видишь, там этот черненький, нужный человек! Первый секретарь директора Госбанка, и выпить любит, теперь сам соображай...

Думает Коваленко, что бы такое сделать поинтеллигентнее, чтобы в знакомство войти, ничего выдумать не может.

Наконец нашел!

Встал и к столику секретаря направился и около него проходя, будто оступился, а чтобы не упасть — за скатерть схватил, да так и стащил все на пол! Скандал! Секретарь вскочил и не то драться, не то только ругаться хочет, а Коваленко ему:

— Извини, товарищ, неприятный случай вышел, вроде неустойчивость проявил я; разреши, ликвидируем принятые обязательства, так сказать, по товарообмену, а пока приберут — присаживайся ко мне!

Посмотрел секретарь — у Коваленко стол правильно оборудован, тут тебе и сосиски, и черная икра, и пива бутылка, и шампанское, все есть, богатый стол! Долго не задумывался.

Закусили как следует, выпили крепко, разговорились.

Оказалось, секретарь и вчера здесь был, Нюрку заметил и очень она ему понравилась.

— Познакомь меня, Миша....

— Могу познакомить, моя она вроде баба, ну да для приятеля все можно! — Сейчас вернусь.

— Пошел за Нюркой, а выходя, чтобы подозрений никаких не было — 20 червонцев под тарелкой оставил. Вернулся с Нюркой через полчаса, по дороге объяснил в чем дело, девчонка поняла и, конечно, обрадовалась....

— Сам пойми, за 15 червонцев в месяц не разгуляешься, а у меня ведь и пацаненок есть, ему тоже питаться положено; в детдом отдавать неохота, без него уркачей в Союзе довольно, ты поедешь, с собой меня ведь не возьмешь?

— Правильно, товарищ Нюра, рассуждаешь, — подумал Коваленко и насчет знакомства с секретарем договорились. Секретарь первым делом экзамен Нюрке насчет женской подготовки проводить начал, по половой грамоте испытание

устроил, а Нюрка только смеется.

— У него спроси — и на Коваленко показывает, а потом еще: «Ты самое главное позабыл!» — и что-то ему долго на ухо говорить начала... Секретарь даже побледнел.

— Знаете, товарищи, я что-то усталость чувствую... Пойдем, товарищ Нюра...

Нюрка на Коваленко моргнула и секретарю:

— Успеете, товарищ, отдохнуть, надо гостя нам развлекать, первый раз в столице находится, часик посидим еще... И вообще надо сначала мой перевод в Госбанк обеспечить, учтите момент, поскольку я вас интересую, на своем производстве остаться мне невозможно, я прогулами заниматься не собираюсь...

— Ну это понятно, у нас как раз свободные штаты образовались, и у меня в кабинете обслуживание внутренней связи не обеспечено, за этим остановки не будет, а вот товарища развлечь надо — это ты права, хороший он парень!

Тут Нюрка поднялась и выходит:

— Я на минутку, товарищи, извините... — и пошла.

Тут то Коваленко к своему делу и приступил. Разъяснил все, как следует, конечно все больше насчет Красного Флота и солидарности рабочих масс говорил и о выполнении принятых обязательств как о священном долге по отношению к Родине вспомнил, в общем суть дела точно указал, Секретарь подумал, подумал и так ему говорит:

— Заходи сюда завтра, я здесь с директором буду; Нюрку, конечно, дома оставь — наш директор на этот счет тоже парень не дурак, а тебя я с ним познакомлю, сделаем это дело, у нас на днях активировка начинается — можно будет это повернуть! Так и вышло, познакомились, поговорили, конечно, не сразу о деле, а так, вообще, о производственном подъеме в стране, о выступлении тов. Жданова, о зернозаготовке и о папанинцах разговор был... Умно поговорили! Узнал директор, что Коваленко с Украины приехал, и обрадовался.

— Жена моя украинка и очень украинский виноград любит, жаль, раньше не были знакомы...

Понял Коваленко в чем дело:

— Вот стечение обстоятельств! Я ж целую корзину «Красной зари» привез — лучшее достижение виновожов...

— Знаю, знаю! Ну что ж, может уступите килограмма два с половиной, я вам по ценам вольного рынка уплачу — нагнулс я к Коваленко и на ухо ему шепнул.

— Да что вы, товарищ директор, какой здесь разговор может быть, разрешите, я завтра к вам забегу и жене доставлю, а о деньгах и не вспоминайте, не обижайте!

Посидели еще, грамм 400 добавочно выпили и разошлись. А на завтра побежал Коваленко в Фруктмагазин, в очереди совсем

недолго стоять пришлось, купил 10 кило «Красной зари», упаковку, будто в далекую дорогу, потребовал произвести, такси взял и по адресу директора направился.

Приехал. Подъезд огромный, милиционеры стоят — наркомовское видно, общежитие; только вошел, тут его сразу оперативники в дежурную комнату взяли и допрос:

— К кому, что в корзине находится, откуда, почему в паспорте прописки московской нет, где судился последний раз, какой срок был и так дальше — ответил точно и пропустили его.

Позвонил, домработница дверь ему открыла — сразу вспомнил разговор с секретарем, и что он ему по этому делу разъяснил, видно в правду у директора к женскому вопросу подход правильный! Пальто сбросил и в квартиру двинулся. Роскошная квартира и питаются люди хорошо — до обеда куда далеко, а тут, слышно, не то котлеты, не то рыба жарится, приятный такой запах! Дождался минут пять, вошла наконец директора жена, Вера Николаевна, ее звали.

— Приятно познакомиться, вы с Украины приехали, муж мне говорил — у меня там первый мой на Петровского заводе цеховым мастером работает...

— Как его звать?

Сказала.

— Вот случай! — и рассказал ей Коваленко все, что, мол, по его делу приехал, поскольку в дружбе состоят, что именно у него производственная неувязка получилась и, пожалуй, за бракоделие его потянут, если дела не исправит...

Загрустила Вера Николаевна. «Надо помочь, — говорит, — хороший хлопец был, только зарплатой не соответствовал, а погибать ему незачем!». «Посиди, — говорит, — минутку, я сейчас приду». Пошла в другую комнату и скоро возвратилась с мешочком каким-то:

— Это у меня на черный день припасено было, на — возьми, свежи ему, скажи, чтобы плохо не вспоминал — крепко я его любила, только, вот, зарплатой не соответствовал...

Коваленко ушам и глазам не верит — и алмазный порошок в руках, и сто тысяч карман оттопыривают. «Вот, — думает, — счастье подкатило!» Поговорил, своего винограда, «украинского», ягодку скушал и распрощался.

Вернулся в номер, Нюрку в город взял, сумочку ей на память купил и чулок пару, кое-что наличными оставил, счастья пожелал, на вокзал его проводила, сел в поезд и обратно, в Днепропетровск, поехал.

Приехал без приключений и прямо с поезда к директору, — Есть песочек!

Расцеловал его Максимов, в цех сразу позвонил, перед этим, правда, отсыпал из мешочка немного и в свой шкафчик спрятал — что осталось, немедленно на производство отдал!

В цеху, конечно, производственное совещание созвали с целью обсудить обеспечение досрочного выполнения шлифовки, и когда уже постановление выносили, сообразили, что, пожалуй, потише надо было дело устроить, да уж поздно было!

Постановление вынесли и соревноваться все обещали, а тут парторг встает и к голосу записывается:

— Выполнение заказа и принятых обязательств — священный долг честного советского рабочего и инженера, это понятно, а вот вы, товарищ Коваленко, разъясните массе ваш метод по добыче алмазного порошка!

Тишина образовалась, ровно у Ильича в мавзолее, встал Коваленко и заявляет:

— Метод, товарищи, сложный, и потому я его в парткоме представляю, здесь не годится...

Масса неудовольствие проявлять начинает:

— Что за метод такой, который сознательному производственному коллективу представить нельзя?

Однако парторг успокоил и разошлись все.

Пошли две работы, можно сказать, параллельно: коленчатый вал с перевыполнением норм обрабатывают и областное НКВД кое-кого в обработку взяло...

Вернулся Коваленко с совещания домой и в партком собрался разъяснение писать — карандаша не успел посплюнуть, как слышит стучит к нему кто-то.

— Коваленко здесь проживает?

— Здесь!

— Разрешите, товарищ, квартиру осмотреть? А если сомнения есть, так вот вам ордер...

Какие тут сомнения! На ордер для порядка посмотрел и.... сел, задумался, а оперативники жилплощадь его, Коваленкину, изучать начали и все пишут: на колечко внимание обратили, портсигарчиком заинтересовались и даже, простите за выражение, резиновое изделие, что от Москвы осталось, в протокол обыска занесли. Понял Коваленко — дело дрянь! И главное с девочками не успел договориться насчет передач...

Сели в машину, поехали. Дальше дело известное: да как, да почему, а главное с кем в компании — в общем человек сорок завербовали. Суд был, к высшей мере приговорили, но сразу, конечно, заявление о помиловании Верховному прокурору СССР сказали написать. Сначала не хотел, да в конце концов начальник НКВД убедил, написал.

Сто шестьдесят три дня в смертной просидел, все ответа дожидался — душно, говорит, по временам бывало, в особенности, так, часика в три ночи, когда ни с сего, ни с того, по коридору человека три идут и сапожищами стучат, а потом вопрос за дверью:

— В этой что ли камере?

Ну и оказывалось не в этой, а в соседней — за все время раз двадцать такое дело было! Наконец прислали ответ на кассацию:

«Ввиду того, что Красный Партизан и преступление, не нося признаков контрреволюционной деятельности, совершено во имя чести рабочего коллектива завода, дело рассмотреть вновь. Вышинский, Верховный прокурор СССР».

Так и попал Коваленко в нашу камеру.

— Не жалею ничего, говорит, Нюрка хорошая девка была, опрятная, ну и эта самая «Московская особая» действительно «особая» была, и — лифт интересная машина! — жаль, не действовал, — а с Нюрой, махнул рукой, определенно повстречаемся — та житуха будет!

Котлеты с крем-брюле

Герой Ольшевского нам как будто знаком по прозе Зощенко и романам Ильфа и Петрова. Однако Коваленко — это уже не зощенковский люмпен, он уже не будет кричать «Ложись в зад!», а щедро поделится свалившимся на него счастьем с опрятной Нюркой, но это еще и не Остап Бендер, цинично и красиво преступающий нормы советского общежития. Коваленко — это пролетарий, который неудержимо рвётся к светлому будущему, он — плоть от плоти своей эпохи, ему близки и революционные лозунги (на митинге «хорошо было и по-советски»), и буржуйские радости жизни («Московская особая» действительно «особая»), он понимает и принимает историческую необходимость истребления «брата нашего, лагерника» и покорно становится под колесо истории, катящееся прямо на него (Какие тут сомнения! — не удивляется Коваленко, когда за ним приходят).

Именно искаженное, пропитанное советским духом, сознание отличает его от героев Зощенко и обаятельного сына турецкоподданного. Коваленко «боится, что отражение его пролетарской физиономии в начищенных сапогах искривленным получится может». Это набравший пролетарского лоска и слегка обросший мещанским подкожным жирком Шариков из булгаковского «Собачьего сердца», охочий до комфорта и женского пола, нечистоплотный, идеологически подкованный, с животным фатализмом принимающий от судьбы как сосиски с черной икрой, так и высшую меру наказания.

Язык героя рассказа Ольшевского подчинен языку безграмотной эпохи, это смесь штампов и лозунгов с бюрократическим образом мышления: «Извини, товарищ, неприятный случай вышел, вроде неустойчивость проявил я; разреши, ликвидируем принятые обязательства, так сказать, по товарообмену, а пока приберут — присаживайся ко мне!» Эта речь полуграмотного снабженца звучит как-то не по-русски, но этот «советский сленг» хорошо нам знаком, на нем изъяснялись герои Платонова. Язык Коваленко — это язык homo soveticus, стремление которого к светлому будущему остановить невозможно. Ольшевский следует за этим языком, показывая абсурдность советского мира, нелепость своего героя, его тупую преданность идее. Ничего не придумывая, он выхватывает из реальной жизни эпизоды, характеризующие сущность эпохи. Ольшевский отстраненно и иронично рисует

действительность, которую хорошо знал. Нелепый с сегодняшней точки зрения пафосный плакат: «Товарищ рабочий, берегите сердце, оно нужно Стране и Коммунизму — пользуйтесь лифтом!» — выражает экспрессию времени, однако пародийную пафосность этой псевдозаботы писатель тут же безжалостно сталкивает с реальным социализмом: «Очередной контроль оборудования — пользуйтесь лестницей».

Мир в сознании товарища Коваленко устроен гармонично, нет у него к нему никаких претензий ни тогда, когда кутит в столице рабочего класса, и все идет как по маслу, ни тогда, когда приходит за ним НКВД — «дальше дело известное». Именно эта будничность абсурда поражает. Вначале социалистический мир покорно прогибается перед пройдохой: и водки вдоволь, и проститутка из честных комсомолок как проводник по светлому будущему подвернулась, и директора важных предприятий удачно покушать зашли, и виноград в магазине, но лагерная тень прочно лежит на всем этом советско-мещанском великолепии («Тут тебе и электросвет, и цветы, и коврики, плюнуть даже некуда, не то что окурки бросить!»). Вот герой вдруг почувствовал укол ревности, что в метро вся «работа вольнонаемным составом проделана», вот оговорился «брат наш, лагерник», вот побоялся вслух ругнуться: «неизвестно где услышат и неприятность может быть», вот умело сблатовал швейцара и официанта. Уркачи, бытовички и честные комсомолки — это понятия одного ряда, как заказанные Нюркой одним духом котлета и крем-брюле, компот и шампанское.

Мир, который рисует Ольшевский, пропитан идеологией, которая предопределяет его судьбу, как пролетарский пот старшего рабочего завода Евдокимова, пропитав штурвал «Потемкина», обусловил его «революционное направление». Одновременно — это мир, в котором изначально все в чем-то виноваты и спешат оправдаться, предугадать обвинение, отвести удар. Не только персонажи стремятся соответствовать высоким советским стандартам и на всякий случай постоянно декларируют свою невинность — «саботажем мы до сих пор не занимались», «я прогулами заниматься не собираюсь» — даже сапоги в этом мире разделяют общее настроение, и когда «почувствовали, что не эксплуатация человека человеком их чистила, а честный труд, без прибавочной стоимости, заблестели, как никогда!». Без всякого трагизма, чрезвычайно лаконично, одним предложением, представлена в рассказе вся процедура следствия: «да как, да почему, а главное с кем в компании — в общем человек сорок завербовали». И конечно, Нюрка, скорую встречу с которой предвкушает главный герой, в их числе, и директор, и главный инженер, и завшлифцеха

завода им. Петровского, и первый секретарь директора Госбанка, и сам директор, и жена директора, и бывший муж жены директора, зарплата которого «не соответствовала», и швейцар, и, конечно, официант, и вся артель чистильщиков обуви, и, видимо, интересные люди из вагона ресторана, и, возможно, Сеня, до Коваленко спавший на простынях роскошной гостиницы... Сорок человек село, потому что вал был на 0,1917 миллиметра короче, чем по проекту положено. Ошибка вышла идеологически значимая — 1917 год — год революции, вот и дело получилось громкое.

В «Яме»

Перевод Ксении Старосельской

Начать следует с того, что он верил в бессмертие. Не в бессмертие души, а возрождение тел, воскресение. Он был техник и верил в механику, физику, разложение сил, термодинамику, а также мелиорацию. Рожденный в извечной тьме российской провинции, должен был верить в электричество. Должен был верить в силы, кажущиеся невидимыми, однако старые как мир, — только эти силы могли преодолеть паралич Ямской слободы, где он пришел на свет. Только они могли справиться с сонной беспредельностью этого края, который, казалось бы, навеки застыл среди океанов земного шара. И, наконец, с космосом, который, несмотря на кажущуюся животворность, на самом деле занимался апокалипсическим уничтожением жизни — создавал ее лишь затем, чтобы немедля обречь на гибель.

Воистину нужно было появиться на свет в глубине России, чтобы снились такие сны. Ведь это не белый свет был, а геологическая бесконечность, время от времени сотрясаемая тектоникой. Четыре тысячи километров с юга на север и девять тысяч с востока на запад. Холодная бескрайняя могила, куда испокон веку сходили одно поколение за другим, не оставляя даже следа. В болота, в мерзлоту, в снега и пески, вглубь, пласт за пластом, а поверхность над ними разглаживалась, будто их никогда и не было.

И сейчас, когда едешь или летишь в те края, всё то же самое. Ничего нет. Островки человечества выглядят как тонущие суда, как плоты с потерпевшими кораблекрушение, которые вот-вот будут поглощены равнодушной извечной стихией. Ах, да почему же только «в те края»... Куда ни отправься, видишь, как чудовищные приливы и отливы уносят, стирают наши следы, наши дома и нашу жизнь, чтобы в конце концов одержать решающую победу — и останется только ледяной покров космоса, сомкнувшийся над беспредельностью земель и вод.

Когда начинается революция 1917 года, Андрей Платонов сразу становится взрослым. Ему восемнадцать лет, и он работает литейщиком на заводе, помощником машиниста на железной дороге. Можно себе представить, как он прикасается к машинам и созерцает их красоту, когда они преобразуют одну энергию в другую. Когда огонь, вода и водяной пар

превращаются в силу, способную покорить пространство. Силу, которая может противостоять небытию. Восемнадцатилетний притрагивается ко всем этим рычагам, цилиндрам, кривошипам и эксцентрикам, истекающим смазкой и теплым на ощупь, как тела животных, и притом бессмертным, ибо сотворенным человеческим гением, который, будучи однажды приведен в действие, уже никогда не остановится.

Революция для него не была событием политического и общественного значения. Скорее, представлялась подобием космического процесса, который изменит физические законы, управляющие вселенной, жизнью и действительностью. Ведь высвобождающуюся энергию — по существу тектоническую — не станут использовать единственно для компенсации общественных несправедливостей, перераспределения благ и освобождения проклятого земного люда. Будь так, мы бы застряли в зачатом и проклятом экзистенциальном круге.

Приходили бы на свет только затем, чтобы умереть.

Укладываемые слоями, ряд за рядом, поколение за поколением, заполняли бы чрево Земли с первого дня до последнего, пока не останется места.

Нужно было быть подростком из Ямской слободы, где единственным исконным развлечением были кулачные бои с соседней деревней. Нужно было быть одним из одиннадцати детей в семье слесаря, которой случалось жить впроголодь. Нужно было, наконец, ограничить свое образование одним или двумя классами железнодорожного училища, чтобы прийти к мысли, что мы должны воскресить всех наших предков, ибо перед ними в долгу. Такова наша моральная обязанность перед теми, кто дал нам жизнь. Перед отцами и матерями, дедами и прадедами, погребенными в песках и вечной мерзлоте — вплоть до последних, самых глубоких пластов.

И нужно было читать провидцев Николая Федорова и Александра Богданова^[1], которые уже на пороге XX века отмечали, что индивидуализированное, технизированное человечество топчется в маразматическом танце на собственной могиле. Федоровская идея супраморализма требовала исполнить долг перед предками. Все нравственные, научные, общественные, технологические ресурсы мира, весь видовой потенциал надлежало поставить на службу одной этой цели: бесконечно длинная родовая цепь умерших должна воссоединиться, а смерть — утратить свое всевластие.

Ни тот, ни другой отнюдь не были неисправимыми неуравновешенными мечтателями. С Богдановым полемизировал сам Ленин, а ГПУ посадило его на пять недель. К аскетичному мудрецу Федорову паломничали величайшие умы эпохи. Его идеями вдохновлялся Циолковский в своих

размышлениях о космонавтике. Земля в будущем окажется слишком мала для бесчисленных сонмов воскрешенных — им понадобится убежище на других планетах.

Ну хорошо. Может быть, он не верил. Однако ждал великих событий. Во всяком случае, чего-то вроде редефиниции — антропологической и космической одновременно. Надеялся на спасение людей и материи. На победу над роком, превращающим жизнь в растянутое умирание. Так, как в Ямской слободе, в российской глубинке, во всех краях, где пребывал проклятый земной люд.

Лет через пятнадцать стало ясно, что никакого Второго Пришествия не будет. Пролетарский, рабоче-крестьянский Христос был, правда, распят, но не воскрес и никогда не воскреснет. Его окровавленные останки одичавший народ выставляет напоказ во время каннибальских обрядов, хоронит и снова выкапывает, насыщая воздух трупным смрадом. Исполняется пророчество Емельяна Пугачева, который полтора века назад называл себя вороненком, обещая, что настоящий ворон только еще прилетит. Одна лишь коллективизация и последующий массовый голод принесли шесть миллионов жертв.

Платонов написал «Котлован» за пять месяцев — начал в декабре 1929-го и закончил в апреле 1930 года. Под низким небом на безбрежной равнине землекопы роют яму под фундамент общепролетарского дома. Лопатами, ломami, кирками, руками. Так, как строили Беломорканал, как добывали золото на Колыме. Яма все углубляется, расширяется — ведь женщины никогда не перестанут рожать, а пролетарские массы — множиться. Землекопы едят кашу и спят вповалку в желтоватом свете лампы. Сменяются времена года: сперва спящие потеют, потом в барак ночью просачивается холод. Но снаружи всегда царят сумерки, как во сне, от которого хочется поскорее проснуться. В соседней деревне на огромный плот грузят кулаков, чтобы сплавить их по серой реке вдаль и в небытие. От них остаются засыпанные мякиной мертвые овцы, над которыми даже зимой роятся мухи. А вокруг по-прежнему серость — не то сумерки, не то рассвет и сон, от которого никто не пробудится. Вскоре мы понимаем, что яма, котлован — это могила. Могила, куда должен поместиться весь мир. Как те, что верили в бессмертие, так и те, что эту веру отвергали. Все. Что, пробиваясь сквозь напластования равнодушной смертоносной материи, мы сходим все дальше в глубь, чтобы в конце концов стать очередным пластом трупов и присоединиться к нашим предкам, которых мы мечтали воскресить. Только такая с ними общность нам дана. Только через смерть и встречу в песке и

вечной мерзлоте.

В XX веке не написано более прекрасной, более страшной и более мудрой книги о тоталитаризме и утопии. Не написано ничего, что по силе слова и трагизму могло бы сравниться с «Котлованом» Андрея Платонова. Апокалипсис здесь на всех уровнях. На уровне образа, философии и языка. Слова растрескиваются, взрываются, поскольку сказаны в абсолютной пустоте. Как рыбы, когда из океанских глубин их вытаскиваешь на поверхность. Начатые фразы к концу приобретают противосмысл и совершают самоубийство. Картины и события уже у своих начал обречены на гибель. Действие происходит в антимире, в антиреальности, которая ведь была абсолютно реальной.

Польское издание «Котлована» (1990) в переводе Анджея Дравича — сто пятьдесят страниц небольшого формата; на картонной обложке — репродукция фрагмента «Воза с сеном» Иеронима Босха. Кажется, всё целиком я так и не прочел: прочитаю сколько-то и откладываю. Просто есть книги, когда нам неинтересно, «что будет дальше»: уже первые страницы, первые фразы создают такой мощный мир, что продолжать чтение кажется не нужным — а то и невозможно. Обычно не хватает сил. Потом мы, конечно, к этой книге возвращаемся — за очередной порцией наркотика или, быть может, яда.

Я уже много лет езжу в Россию. Далеко на восток, в Сибирь, а еще в Монголию, Китай, в Среднюю Азию. И всякий раз беру с собой Платонова. Я читал его в самолетах, в поездах, читал у костров, разведенных где-нибудь в степи или пустыне. А иногда просто достаточно было того, что у меня с собой эта небольшая книжечка в истрепанной красной обложке. Казалось (возможно, я ошибался), будто она хотя бы отчасти поможет мне понять, что же здесь произошло. Что произошло сто лет назад в российской и азиатской беспредельности, в эпицентре катаклизма.

«В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде, крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха.

Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение,

проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье».

В Польше в 2017 году опубликован «Котлован» Андрея Платонова в переводе Адама Поморского под названием «Dół» («Яма»). Предыдущий перевод Анджея Дравича (1990) назывался «Wykor» — так обозначается «котлован» (большая яма для закладки фундамента) в русско-польских словарях. Свое решение иначе назвать повесть Адам Поморский аргументирует тем, что «яма» более многозначна и ближе к замыслу автора. — Примеч. пер.

1. Николай Федорович Федоров (1829–1923) — религиозный мыслитель и философ-футуролог, один из родоначальников русского космизма. Александр Александрович Богданов (1873–1928) — ученый-энциклопедист, революционный деятель, мыслитель-утопист, теоретик пролетарской культуры. — Примеч. пер.

Хроника (некоторых) текущих событий

- «“Я буду доказывать преимущества президентской формы правления, поскольку считаю ее очень эффективной”, — отметил президент Анджей Дуда, заявивший, что настало время расширить полномочия президента». («Супер экспресс», 2 окт.)
- Фрагменты интервью с Ярославом Качинским. «В условиях нашей стабильной политической системы я не вижу никаких предпосылок для введения в Польше президентской формы правления, риски которой в том, что человек без соответствующего опыта и навыков, а иногда и человек злой воли — такое ведь тоже случается, только прошу не относить это на счет президента Анджея Дуды — сосредотачивает в своих руках огромную власть и к тому же никем не контролируется. (...) Слишком часто президентские выборы превращаются в разновидность плебисцита, в ходе которого побеждает не политик, наделенный чувством ответственности, а скорее тот, кто больше знаменит. Пример Франции ярко демонстрирует, к каким негативным последствиям может привести такая ситуация. (...) Впрочем, уже сегодня видно, что в рядах так называемой тотальной оппозиции у нас есть последователи немецкой модели». («Газета Польска», 4-10 окт.)
- «Пятничная встреча лидера правящей партии и главы государства проходит уже в третий раз подряд. Каждая из них была посвящена обсуждению законов о Национальном совете правосудия и Верховном суде. (...) Особенно сложной оказалась тема выдвижения судей Национального совета правосудия. (...) “Президента не устроит вариант, который не гарантирует внепартийное избрание судей”, — заявил вчера Кшиштоф Лапинский, пресс-секретарь президента. («Газета Польска цодзенне», 7-8 окт.)
- «Я уверен, что часть наших сенаторов обсуждала с господином президентом свой выбор. (...) Президент Дуда может пролоббировать представителей оппозиции», — Ярослав Качинский. («Газета wyborcza», 4-10 окт.)
- «Пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский в эфире радио “Труйка” заявил, что в случае, если ПИС слишком радикально отредактирует президентские законопроекты о Национальном совете правосудия и Верховном суде, Анджей

Дуда просто их не подпишет. (...) Лапинский также подчеркнул, что Анджей Дуда на прошлой неделе сказал о том же самом лидерам фракции ПИС в ходе парламентских консультаций». (Витольд Гловацкий, «Польска», 2 окт.)

• «ПИС хочет полностью подчинить себе Национальный совет правосудия. Президент же заявляет: либо совет будет избираться на пропорциональной основе, либо я этого не допущу. (...) Это не просто борьба за Национальный совет правосудия, это борьба за власть, говорят люди из окружения президента. (...) Глава государства не боится частных заявлений политиков ПИС, угрожающих ему, к примеру, Государственным трибуналом. “Что ж, пусть попробуют. Может, еще и в наручниках меня выведут?”, — горько пошутил президент Анджей Дуда». («Факт», 7–8 окт.)

• «Заодно с реформой системы правосудия президент предложил предоставить более широкие полномочия президенту. (...) В последние месяцы его поведение вызывает всё большую тревогу. (...) Он заигрывает с самыми разными политическими кругами и рассказывает о том, что ему не хочется ссорить поляков между собой», — Петр Лисевич, заместитель главного редактора. («Газета Польска», 4–10 окт.)

• «“Мы должны знать, с нами ли президент, реальны ли дальнейшие перемены или наши усилия по улучшению ситуации в Польше достигли своего предела”, — заявил на прошлой неделе в интервью “Сетям” председатель “Права и справедливости” Ярослав Качинский. (...) Не ставит ли Анджей Дуда палки в колеса патриотическому лагерю, пытающемуся разогнать всю эту посткоммунистическую лавочку и искоренить патологию? (...) Представители президента, а иногда и он сам, просто не понимают, что без решительной победы над кланами и кликами, которые сидят у нас на шее чуть ли не с 1944 года, реформы не имеют никакого смысла. (...) Дальнейшая судьба Польши зависит сегодня от одного человека — от президента Анджея Дуды. (...) Это политик, который обязан своей блестящей карьерой в первую очередь Ярославу Качинскому», — Яцек Карновский, главный редактор. («Сети», 2–8 окт.)

• «Главное различие между проектом “Права и справедливости” и проектом президента заключается в том, что Дуда отобрал у Зёбро полномочия по регулированию состава Верховного суда и наделил ими самого себя. Судья Верховного суда, достигшему 65-летнего возраста, придется обращаться с унижающим его ходатайством о продолжении профессиональной деятельности к президенту, а не к министру юстиции, как предлагает в своем проекте ПИС. Первому председателю Верховного суда, чей шестилетний срок полномочий, гарантированный основным законом, будет

прерван, тоже придется просить президента любезно согласиться продлить ее полномочия. Распространение полномочий президента — органа исполнительной власти — на сферу правосудия (...) усугубляется совершенно нелепой инициативой об утверждении президентом... регламента Верховного суда», — Войцех Садурский, профессор философии права в Сиднейском университете, профессор Европейского центра Варшавского университета. («Газета выборча», 6 окт.)

• «Вся эта дискуссия сводится к одному — кто будет той последней и главной инстанцией, принимающей окончательное решение. (...) Причиной этого спора стала особенность нашего конституционного строя — президент располагает довольно внушительным мандатом доверия, выданным гражданами на всеобщих выборах, и в то же время его влияние на деятельность исполнительной власти невелико. (...) И президент, и ПИС пользуются одинаково высокой поддержкой. С той лишь разницей, что в случае президента речь идет о рейтингах доверия, в которых поддержку президенту выражают в том числе и те, кто не собирается голосовать за Анджея Дуду. А в том, что касается ПИС, мы имеем дело с реальной поддержкой конкретной политической партии. Это усиливает и укрепляет позицию председателя правящей партии в ходе политических переговоров», — профессор Варшавского университета Рафал Хведорук, политолог. («Супер экспресс», 7–8 окт.)

• «Президентский и ПИС-овский проекты законов о Национальном совете правосудия и Верховном суде, кроме их неконституционности, объединяет еще одна черта: стремление сделать так, чтобы правящая партия всегда могла влиять на конкретные решения суда. Спор между президентом и ПИС разворачивается не вокруг государственной модели или реформы правосудия. Сейчас, когда президент полностью раскрыл содержание своих проектов, стало понятно, что спор касается власти. (...) ПИС хочет прибрать к рукам сразу всё и вряд ли позволит президенту решать, кто останется в Верховном суде, и кто будет туда избран. Получить всю полноту власти ПИС не может, не подчинив себе суды. С этого они начали (история с Конституционным трибуналом) и уже не остановятся». (Эва Седлецкая, «Политика», 4–10 окт.)

• «ПИС относится к президенту как к мальчику на побегушках. Причем это президент из их же собственного политического лагеря. В глазах общественности фигура президента неразрывно связана с престижем Речи Посполитой. И если деятели правящей партии даже не скрывают, что президент для них — это отставной козы барабанщик, терпение общественности рано или поздно лопнет. Президент обязан взбунтоваться. У него просто нет выхода. (...) Если председатель

ПИС не в состоянии совладать со своей травмой, скорбью по погибшему брату и сугубо личными эмоциями, то пусть уходит из политики и общественной жизни. (...) Я боюсь, что ситуация выйдет из-под контроля и случится какой-нибудь неожиданный инцидент», — Рышард Бугай. («Жечпосполита», 10 авг.)

• «Ярослав Качинский не был моим шефом, правительство было коалиционным. Это культурный человек, который умеет нагнать страху. Он не любит тех, кто ему сопротивляется. (...) Ярэк не умеет прощать. (...) Качинский большой ловкач. Он раскрылся передо мной лишь потому, что поверил в мой образ циника. Он говорил, что трибунал наш, масс-медиа будут наши, с “Польсатом” дело в шляпе, закон о деконцентрации капитала в СМИ решит проблемы “TVN”, а Суд по делам прессы справится с журналистами. Этот проект лежал на столе, его готовил Зёбро. (...) Сегодня мы движемся в том же направлении. (...) Качинский, в точности как Мадуро, готовит правовые лазейки на случай поражения на выборах. (...) Он останется председателем партии, а премьеров будет менять. (...) После полутора лет работы в правительстве мой кругозор существенно расширился, я лучше узнал Качинского и всю политическую реальность», — Роман Гертых, в 2006-07 гг. вице-премьер и министр образования, в настоящее время руководит адвокатским бюро. («Газета wyborcza», 23-24 сент.)

• «Парадокс в том, что Польша, настроенная крайне антироссийски, все больше скатывается к московскому сценарию управления обществом. Более того, благодаря своей эксцентричной внешней политике, она, по сути, работает на реализацию стратегических целей Кремля в Европе», — Рената Лис. («Политика», 4-10 окт.)

• «Всё больше указывает на то, что Польша была выбрана Россией в качестве испытательного полигона перед выборами в США, где был отработан тот же самый набор спецопераций. “Гражданская платформа”, несмотря на лучшие в Европе результаты экономического роста, потерпела поражение. Не в последнюю очередь это случилось из-за кассетного скандала, когда были обнародованы записи разговоров ключевых политиков, среди которых не оказалось представителей “Права и справедливости” (хотя те также посещали ресторан, в котором была организована прослушка). (...) Главный обвиняемый по этому делу, бизнесмен Марек Ф., был должен 26 млн долларов российским фирмам, кредитором которых оказалась “Кузбасская топливная компания”, тесно связанная с Путиным. Томаш Пьонтек в “Газете wyborczej”, Рышард Груца на страницах “Факта”, а также их зарубежные коллеги из “Франкфуртер альгемайне цайтунг” и “Гардиан” описывают связи политиков из окружения министра обороны Антония

Мацеревича с Кремлем», — Славомир Сераковский, директор Института перспективных исследований в Варшаве.

(«Политика», 13 сент.)

• «Пустых и безыдейных людей полно в каждой партии. (...) Молодые политики не читают, не пишут, ничего не знают и не хотят знать. (...) В Польше политик молодого поколения в состоянии написать разве что текст, оскорбляющий Ярослава Качинского, либо же панегирик в его же честь. А если нужно написать об интересующем его вопросе, об образе будущего, к которому он стремится, тут же выясняется, что сказать ему нечего. (...) Когда возникает потребность в сильном государстве и сильных, ответственных, начитанных и интеллектуально подкованных политиках, вдруг оказывается, что в поколении 30-ти и 40-летних таких людей просто нет», — Эрик Мистевич, политический консультант. («Жечпосполита», 23-24 сент.)

• «У Туска и Качинского психология пасечников. Каждый открывает свой улей, смотрит, как там всё гудит и клокочет, и как только кто-то в этом улье начинает считать себя королем пчел, его тут же ставят на место. Лидеры блюдут свое первенство, сражаясь между собой различные политические группы. (...) Искренняя забота о государственном устройстве действительно необходима», — профессор Ягеллонского университета Ярослав Флис, политический социолог. («Жечпосполита», 7-8 окт.)

• «Второй год правления ПИС заканчивается попыткой радикального смещения оси политического размежевания. Кроме отчетливого, обозначившегося еще в первые месяцы нахождения ПИС у власти, конфликта на линии “общество — элита”, “Право и справедливость” намеревается усугубить конфликт на оси “патриоты — защитники чужих интересов”. ПИС хочет пойти на следующие выборы как партия, защищающая народные интересы от тех, кто не просто этим интересам угрожает, но и представляет интересы совершенно противоположных групп». (Рафал Матыя, «Дзенник газета правна», 29 сент. — 1 окт.)

• «Перед лицом постепенной изоляции Польши (...) правительство обращается к самой элементарной внешнеполитической стратегии, используя для подогревания эмоций нашу национальную трагедию. (...) Германия, как и любая другая страна ЕС, имеет право вмешаться, если кто-то нарушает фундаментальные демократические принципы, о соблюдении которых мы все договорились. (...) Вопрос репараций за Вторую мировую войну закрыт. Оба правительства — объединенной Германии и демократической Польши — пришли к сложному компромиссу. Адресатом их репарационных претензий могла бы быть только Россия», —

проф. Анна Вольф-Повенская, бывший директор Западного института в Познани. («Газета wyborcza», 28 авг.)

- «“Сталинские холуи”, “Смерть предателям народа” и “Пошел вон из нашей страны” — такими надписями были разрисованы памятники на кладбище “Мавзолей советских солдат” в Варшаве. («Газета wyborcza», 19 сент.)

- «Институт национальной памяти получил согласие белорусских властей на проведение поисковых работ на территории этой страны. Работы начнутся 4 сентября. (...) При проведении эксгумации польским ученым помогут белорусские военные из специального батальона. (...) Выражение белорусскими властями согласия на проведение этих работ наши историки и дипломаты считают переломным событием. (...) Еще год тому назад белорусская прокуратура не согласилась на проведение исследований». (Марек Козубаль, «Жечпосполита», 25 авг.)

- «Бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили 26 июля лишил украинского гражданства сам президент Украины Петр Порошенко. (...) Таким образом, Саакашвили оказался апатридом, которого еще и объявила в розыск Грузия — другой союзник Польши. Несмотря на это, Саакашвили беспрепятственно передвигался по территории нашей страны. (...) “Польска агенция прасова” организовала ему пресс-конференцию. (...) Польская пограничная служба беспрепятственно пропустила его. В результате Саакашвили был демонстративно чуть ли не внесен на руках своими сторонниками на территорию Украины. (...) Трудно сказать, выиграет ли Польша от поддержки Саакашвили». (Енджей Белецкий, «Жечпосполита», 12 сент.)

- «В списке главных проблем ЕС сейчас фигурируют Польша, Венгрия, Турция, Россия и “Брексит”. (...) В случае Польши спорные моменты ее взаимоотношений с Брюсселем таковы: процедура охраны правопорядка, вызванная конфликтом вокруг Конституционного трибунала и Верховного суда, процедура о нарушениях законодательства ЕС, связанных с законом о судах общей юрисдикции, процедура о нарушении законодательства ЕС при вырубке Беловежской пуши (нарушение выразилось в отказе Польши выполнять решение Европейского суда о временном запрете этой вырубки), а также отказ выполнять решение ЕС о приеме беженцев. (...) Все эти конфликтные ситуации связаны с состоянием правопорядка, говорит наш собеседник». (Из Брюсселя Анна Слосевская, «Жечпосполита», 13 сент.)

- «Европейская комиссия применила во вторник так называемое обоснованное мнение относительно закона о судах общей юрисдикции. Это уже второй этап процедуры, связанной с нарушением законодательства ЕС, которая была начата 29

июля. На исправление всех недочетов у Польши есть месяц. Если Польша этого не сделает, комиссия на третьем этапе процедуры направит дело в Европейский суд в Люксембурге». (Из Брюсселя Анна Слосевская, «Жечпосполита», 13 сент.)

• Заместитель председателя Европейской комиссии «Франс Тиммерманс на заседании Совета Европейского союза по общим вопросам в Брюсселе представил вчера информацию об угрозе законности в Польше. (...) В ходе совещания за закрытыми дверями высказались министры из всех 28 стран ЕС. (...) Один лишь представитель Венгрии (...) пытался убедить собравшихся, что Совет ЕС — не самый подходящий форум для дискуссий о Польше. (...) Однако даже он не высказал сомнений относительно правомочности Совета по проведению такого диалога. (...) Прочие участники совещания подчеркивали, что Комиссия имеет право действовать в случае возникновения угрозы режиму законности. (...) Тиммерманс упомянул также вырубку Беловежской пуши, осуществляемую вопреки решению Европейского суда в Люксембурге о приостановке вырубки до вынесения решения по этому делу в рамках спора Европейской комиссии и Польши». (Из Брюсселя Томаш Белецкий, «Газета wyborcza», 26 сент.)

• «Предусмотренная министерством вырубка приведет к тому, что польская часть Беловежской пуши, являющаяся лесом естественного происхождения, сократится на 20%». (Агнешка Войчешек, «Бондзь Био», журнал фонда «Centraurus» и Эко-клуба, №3, 2017)

• «Вырубка деревьев продолжается. Закон не работает — несмотря на судебные решения, государство нарушает закон, “Государственные леса” нарушают закон. (...) Реализуемый сейчас на наших глазах (...) сценарий с “харвестерами” на заднем плане — это отвратительное, варварское и совершенно неевропейское поведение. Ибо “харвестеры” брошены в бой для того, чтобы по-быстрому убрать мертвые ели, (...) вырвать их под корень до принятия Европейским судом решения по существу. Когда будет принято решение, предписывающее Польше прекратить такого типа практику, оно окажется беспредметным. Эти люди действуют методом свершившихся фактов в ситуации, которая должна рассматриваться в суде. (...) Лесные урочища, появляющиеся при участии лесников там, где работали “харвестеры” и лесорубы, не будут иметь ничего общего с урочищами, возникавшими в рамках естественных процессов обновления пуши, которая самостоятельно воспроизводится вот уже 12 тысяч лет», — Пшемислав Хиларецкий, научный сотрудник Института зоологии Польской академии наук. («Дзике жице», сент. 2017, №9/279)

• «“Будет больно”, — эти произнесенные с холодной яростью слова лесничего, прижавшего к земле одного из активистов,

защищавшего Беловежскую пушу от вырубки, стали символом современной политической действительности, (...) своего рода кличем перед погромом. (...) “Будет больно”, когда десятки и даже сотни человек снова станут жертвами прямого насилия только потому, что у них другой, более темный цвет кожи, и они говорят на другом языке. (...) “Будет больно”, если после стихийного бедствия на Кашубах польское правительство не воспользуется финансовой помощью ЕС, потому что это разрушило бы пропагандистский образ Европейского союза, навязываемый обществу этим же самым правительством. (...) “Будет больно”, если прокуроры по распоряжению вице-премьера откажутся преследовать тех, кто занимается пропагандой расизма. (...) “Будет больно”, коль скоро (...) войска Территориальной обороны учатся обращаться с дубинками-“тонфами”, используемыми для разгона демонстраций. (...) “Будет больно”, когда по принципу коллективной ответственности снижают пенсии всем, кого теперь считают сотрудниками аппарата насилия в ПНР», — Роман Куркевич. («Пшеглэнд», 18–24 сент.)

• «Вспомним эпоху перемен, “Солидарность”, которая отвоевала для нас свободу, и зададимся вопросом: что происходит с моим народом? Во имя закона мы нарушаем закон, лишь бы только взять верх над противником. (...) Мы создали государство, в котором нет ничего общего с правдой, правом и авторитетом. Всё напоказ, всё фальшиво, словно декорации в провинциальном театре. (...) Никто не замечает реальных опасностей, которые наступают со всех сторон. (...) Кто задумывается сегодня, что будет с Польшей через 20–30 лет? Погоду делают только частные интересы партиек и партий, во главе которых стоят политиканы, преследующие одну лишь цель: прийти к власти либо удержать ее», — Артур Илгнер. («Жечпосполита», 22 сент.)

• «Я провел годы в эмиграции и часто встречал соотечественников в самых разных уголках мира. И всякий раз выяснялось, что мы обременены польским комплексом, который, взращиваемый на протяжении многих лет, проявляется в форме наихудших черт: расизма, ксенофобии, национализма. (...) С течением времени из нас постепенно уходит понимание того, что значит быть человеком. Мы не желаем помогать беженцам, спасающимся от войны, — и это ужасно. (...) Кто-то сказал однажды: поляки — это русские, притворяющиеся французами. То, что мы живем на стыке этих двух моделей Европы, делает нас нерешительными, разобщенными, напуганными. И чтобы справиться с этим страхом, мы хватаемся за религию и национальное самосознание», — Мачей Петр Прус. («Польска», 2 окт.)

• «В связи с приходящейся на 20 сентября 75-ой годовщиной

создания “Национальных вооруженных сил” (польская конспиративная националистическая организация, существовавшая в 1942–47 гг. и боровшаяся после войны с властями Народной Польши — примеч. пер.), Сейм принял резолюцию в честь этой организации. (...) Против прославления “Национальных вооруженных сил” (...) выступила, в частности, еврейская общественная организация “Бней-Брит” (“Братья Союза”): “Деятельность восхваляемой ныне «Свентокшиской бригады» осуждалась еще представителями Армии Крайовой за сотрудничество бригады с гестапо. Еще большее беспокойство вызывает то, что президент Польши патронирует мероприятия в честь «НВС», в которых принимает участие Лешек Жебровский, известный своими многочисленными высказываниями и акциями откровенно националистического и антисемитского характера, а также поддержкой «Национально-радикального лагеря»». (Богдан Пентка, «Пшеглэнд», 2–8 окт.)

• «Роман Куркевич в “Пшеглэнде” напоминает депутатам, которые единогласно почтили 75-летие создания “Национальных вооруженных сил” об истинных целях этой организации, сформулированных на страницах подпольной газеты “Шанец” в 1943 году: “Мы убеждены, что ни один немец или еврей, ни один украинец или литовец не может быть полноправным гражданином будущего польского государства. (...) Мы должны решительно отвергнуть нелепую идею гражданского равенства. (...) Нужно полностью избавиться от евреев, как от чуждого, безусловно враждебного и не способного к ассимиляции элемента”». («Политика», 4–10 окт.)

• «Клуб “Освенцим”» — это «запись моих бесед с польскими бывшими узниками немецких концлагерей. (...) Их послевоенные судьбы зачастую оказывались ничуть не легче, во время допросов этих людей подвергали насилию и пыткам. Из них пытались выбить какую-то информацию, унижить их, принудить к сотрудничеству. (...) После 1989 года им пришлось столкнуться с циничным равнодушием всех последующих правительств, которые использовали ветеранов в качестве памятных талисманов. (...) Как правило, они больше боятся русских, чем немцев, несмотря на то (...), что содержались в немецких концлагерях. Растет их страх перед очередным большим вооруженным конфликтом. Они чувствуют — что-то грядет, и это их очень пугает. (...) Эти люди представляют самые разные социальные слои. (...) Взгляды у них тоже самые разные — кто-то за левых, кто-то за правых. Но при этом большинство из них объединено ужасом перед нынешней политической действительностью с характерными для нее нарастанием противоречий и ожившими призраками прошлого, причем самого дурного пошиба, родом прямо из

межвоенного двадцатилетия, призраками, питаемыми антисемитизмом, национализмом и расизмом. (...) У этих людей огромный жизненный опыт и интуиция, к которой мы не хотим прислушаться», — Агнешка Даукша. («Газета wyborcza», 7–8 окт.)

• «Кому мы обязаны развернувшейся в наших школах политической и исторической пропагандой? Не забудьте еще и 564 часа основ религии, что превышает учебное время, отведенное на химию, физику и биологию вместе взятые. (...) Ярослав Качинский: “У нас будет такая Польша, что никто чужой не сможет навязать нам своей воли. Даже если по каким-то вопросам мы останемся в Европе в одиночестве, мы все равно останемся! Как остров свободы и терпимости”. Иоахим Брудзинский: “Если бы не ПИС, в Седльце уже стояла бы мечеть”. Ян Шишко: “Отец Рыдзык — это духовный вождь нашего народа”». (Славомир Тым, «Политика», 13–19 сент.)

• «Если школа не сможет воспитать в нас критического отношения к телевидению и глянцевым журналам, то тем более не защитит от манипуляций, связанных с искусственным интеллектом и цифровыми программами. Детей в школе не учат — хотя бы на самом базовом уровне — распознавать ложную информацию и обращать внимание на контекст. И если мы, взрослые, этим не займемся, научить их будет всё трудней! Вся надежда на внешкольные образовательные инициативы негосударственных организаций и институтов культуры, таких, как “Медиа Гданьск” при Институте городской культуры. Чтобы понять, что тобой манипулируют, нужно обладать некоторыми компетенциями в области масс-медиа. Воспитывать же в себе иммунитет по отношению к ложной информации, которая поставляется набирающими всё большую эффективность ботами (компьютерными программами с набором определенных заданий, работающими автоматически) и людьми, стремящимися нас обмануть и действующими с помощью фиктивных аккаунтов, будет с каждым разом всё сложнее», — Гжегож Д. Струнжа («Политика», 14–15 авг.)

• «Премьера спектакля “Мефисто”, поставленного в “Театре повшехном” в 1983 году, отражала опыт военного положения и отношение артистов к властям ПНР. В 2017 году “Мефисто” ставится в театре, который забрасывают фейерверками националисты, проклиная с церковных кафедр и трибун Сейма, в театре, перед которым из соображений безопасности выставляется полицейский кордон. Всё это происходит в стране, где решение о выступлении в государственных СМИ ставит человека перед нравственной дилеммой, знакомой нам лишь по нашему историческому прошлому. (...) Где кончается компромисс и начинается оппортунизм? Не связано ли четкое

обозначение этой границы с чувством морального превосходства? А может быть это просто попытка сохранить остатки порядочности?»). («Мефисто», спектакль по мотивам романа Клауса Манна и фильма Иштавана Сабо, премьера 30 сент. 2017. Каталог. Редактор Каролина Капральская. Изд. «Театр повсехны» им. Зигмунта Хюбнера, 03-801, Варшава, ул. Замойского, 20)

- ««Мефисто» — это спектакль в духе «Проклятия» Оливера Фрлича. (...) «Театр повсехны» стал символом сопротивления и одной из тех культурных площадок, посещать которые необходимо». (Витольд Мрозек, «Газета wyborcza», 4 окт.)

- «Такой девальвации правды и такого торжества абсурда не было даже при коммунизме. Люди говорят и говорят, но в силу отсутствия аргументации им остается лишь бросаться обвинениями, обрядив их в подобие аргументов. (...) Единственный результат — это рост взаимной ненависти. (...) В поисках причины такого равнодушного отношения к попыткам задуть свободу и отменить нормы общественной этики, мы вдруг видим перед собой довольно невежественную часть нашего общества, (...) обреченную на гражданскую незрелость, (...) пребывающую в коконе фрустрации и чувства обиды. (...) Истинным духовным пространством для них служит религия фрустрации и обиды, куда кое-как просачиваются католический Бог, идеи возмездия и реванша, смоленский заговор и программа 500+. Их мифология для них в тысячу раз реальнее нашей тревоги и нашего гражданского возмущения. (...) Из этой страны нужно бежать, (...) чтобы не сгореть со стыда, жить тут бессмысленно. (...) Этическая аргументация и несмолкающие призывы к совести уже не работают. Все попытки принудить власть согласиться на уступки пошли прахом. Слово их и не было», — Кристиан Лупа, театральный режиссер, спустя год возобновивший подготовку спектакля «Процесс» по роману Франца Кафки. («Газета wyborcza», 26 сент.)

- «На протяжении многих лет Польша была страной, где уничтожалась польская культура, где самой популярной газетой была космополитическая немарксистская «Газета wyborcza», где коммерческое телевидение основали наследники ПНР, внешняя политика сводилась к произнесению заученных общеевропейских тирад и поездкам «на ковер» в Берлин, внутренняя же политика была подчинена интересам олигархов, связанных главным образом с нашими восточными соседями, экономикой управляли спецслужбы, а система образования была призвана делать из юных поляков идеальных сотрудников низшего звена для зарубежных корпораций. (...) Крупнейшими мыслителями Третьей Речи Посполитой считались полонофобы Адам Михник и Яцек Куронь. (...)

Экспертами в области современности и гражданственности — предатели вроде Влодзимежа Цимошевича и Александра Квасневского, (...) авторитетом в сфере экономики был партийный карьерист Лешек Бальцерович. (...) Усилиями “Газеты wyborчей” и “TVN” была создана целая плеяда персонажей сколь пустых, столь и компрометирующих звание священника: отец Леманский, священник Сова, архиепископ Юзеф Жицинский. Ведущую роль в развращении Церкви сыграл “Тыгодник повсехны”. Третья Речь Посполитая была зачатый во грехе, испорченным ребенком ПНР», — Витольд Гадовский. («Газета Польска», 4-10 окт.)

• «“Если бы мне во время военного положения предложили высказаться в эфире тогдашнего польского телевидения, я бы отказался. По той же причине я ничего не скажу нынешним телевизионщикам”, — заявил проф. Лешек Бальцерович на пресс-конференции». («Газета wyborча», 20 сент.)

• «Темпы развития экономики постепенно ускоряются. (...) Никогда еще после 1989 года у нас не было такого низкого уровня безработицы. У нашего бюджета никогда не было и половины такого профицита. А количество оптимистов среди потребителей никогда не превышало количества пессимистов. (...) Впрочем, сегодня просто некому работать. (...) Около 60% средних и крупных предприятий в Польше отмечают, что не могут найти сотрудников на некоторые должности, и это является самым серьезным препятствием для их развития. Отсутствие рабочих рук приводит к росту зарплатного давления. (...) Растет риск возникновения инфляционной спирали. (...) С нашим дефицитом, достигающим 2,7% ВВП, мы будем плестись в самом хвосте по сравнению с другими странами ЕС. (...) Большая часть нашего долга принадлежит за границе (государственный долг Польши превысил миллиард злотых, по прогнозам МВФ через 10 лет должен достичь 90% ВВП — В.К.), а в нашей экономике сконцентрировано слишком мало государственных сбережений, чтобы мы могли финансировать новые задолженности. (...) Есть также сектор в финансовой отрасли, где структурный кризис уже на пороге. (...) Банкротство Кооперативных сберегательно-кредитных касс не нанесло бы ущерба нашей экономике, но и совсем безболезненным тоже не будет. (...) “Несмотря на незначительную роль сектора Кооперативных сберегательно-кредитных касс в финансировании экономики, его положение имеет значение для стабильности финансовой системы. (...)”, — говорится в отчете Национального банка Польши». (Марек Хондзинский, Якуб Капишевский, «Дзенник газета правна», 29 сент. — 1 окт.)

• «В последнем выпуске рейтинга конкурентоспособности Всемирного экономического форума Польша оказалась на 39

месте, опустившись по сравнению с предыдущим годом на три позиции. (...) Серьезнейшими препятствиями для конкурентоспособности польской экономики выступают сложные налоговые процедуры, чрезмерный фискализм, а также нестабильная экономическая политика». («Газета выборча», 28 сент.)

• «Инфляция в Польше набирает обороты. (...) Индекс потребительских цен (то есть индекс инфляции ИПЦ), достиг в сентябре 2,2%. Цены растут, так как их рост подстегивается ростом зарплат, а те, в свою очередь, повышают ожидания работников, которые (...) знают о постоянной нехватке рабочих рук (...). Темп роста зарплат в частном секторе достиг уровня 6,6% по сравнению с предыдущим годом. (...) Вроде бы пока всё в порядке — по мнению экономистов, рост польской экономики в этом году может составить 4%. Уровень индекса ИПЦ, отражающий ситуацию в промышленности, находится на очень высоком уровне, (...) начинают раскручиваться инвестиции». (Войцех Романский, «Жечпосполита», 3 окт.)

• «По данным Главного управления статистики, средняя зарплата в стране в июле составила 4501 злотый, то есть почти на 5% больше, чем год назад. (...) Средний заработок поляков: Австрия — 12 197 злотых, Германия — 10 891 злотых, Бельгия — 5 450 злотых, Ирландия — 6 420 злотых, Голландия — 6 184 злотых, Великобритания — 5 450 злотых, средняя зарплата в Европе — 6 696 злотых». («Супер экспресс», 19–20 авг.)

• «Если речь идет о росте ВВП, который никак не связан с ростом зарплат, то спасибо, не надо. ВВП — это инструмент, а не самоцель. (...) Появляется всё больше исследований, в том числе проводимых МВФ и Организацией экономического сотрудничества и развития, которые показывают, что дифференциация тормозит рост экономики. (...) В 90-е годы мы добились успеха. Самое главное, что нам удалось не вырастить у себя олигархов. (...) В то же время у нас постоянно была высокая безработица. (...) В Польше за последние годы дифференциация уменьшилась, а не выросла. (...) Избиратели видят, что не всё так хорошо, как им внушают. Кроме того, многие чувствуют, что те, кто зарабатывает действительно много, не платят столько налогов, как остальные. Медиана доходов составляет лишь 3,3 тыс. злотых брутто, а люди ведь не слепые, они видят все эти роскошные БМВ», — Яцек Томкевич, кандидат экономических наук, Академия Леона Козьминского. («Газета выборча», 11 окт.)

• «С 1 октября пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, для мужчин — 65 лет. 331 тыс. человек в этом году смогут раньше уйти на пенсию». («Факт», 2 окт.)

• «Сторонником проекта так наз. гражданской пенсии является вице-премьер Матеуш Моравецкий. “Вполне вероятно, что

через 5, 10 или 15 лет мы введем гражданскую систему пенсионного обеспечения (пенсия в размере 1000 злотых, гарантируемая государством и одинаковая для всех граждан) с сохранением системы пенсионных взносов, просто в меньшем объеме», — заявил он в конце 2016 года. (...) Касса Управления социального страхования пуста. Взносы работников сейчас идут на выплату текущих пенсий и пособий. Управление социального страхования ежегодно испытывает недобор, поэтому берет дотации из бюджета в размере 30–40, а то и 50 млрд ежегодно. (...) По поручению премьер-министра Беаты Шидло Управление социального страхования подготовило проект новой пенсионной системы». (Лешек Костжевский, «Газета wyborcza», 15 сент.)

• «У нас довольно низкие показатели деторождения, демографический кризис отражается на состоянии рынка труда, а дальше будет только хуже. Еще более пагубное влияние эта ситуация оказывает на пенсионную систему, которая вскоре станет неплатежеспособной, а бремя пенсионных выплат ляжет непосредственно на госбюджет. (...) С точки зрения роста ВВП мы занимаем только шестое место в ЕС. (...) А с точки зрения дефицита бюджета мы занимаем в ЕС третье место с конца. (...) Польские вооруженные силы не в состоянии самостоятельно защитить страну. (...) Мы слишком много говорим и слишком мало делаем. Если это не изменить, мы останемся в Европе второго класса». (Анджей Талага, «Жечпосполита», 4 окт.)

• Доверие поляков к общественным институтам (в процентах): парламент (Сейм и Сенат) — 26,9%, общественные СМИ («TVP» и «Польское радио») — 29,8%, Конституционный трибунал — 30,3%, суды — 36,7%, правительство — 37,1%, частные СМИ — 46,5%, католическая Церковь — 52,7%, Евросоюз — 57%, полиция — 62,4%, армия — 62,4%, НАТО — 75,1%. Опрос Центра рыночных и социологических исследований, сентябрь 2017 года. («Жечпосполита», 25 сент.)

• «По данным опроса Центра рыночных и социологических исследований, проведенного 6–7 октября, количество позитивных отзывов о президенте Анджее Дуде впервые с марта этого года снизилось (57% в сентябре, 50% в октябре), а количество негативных — увеличилось (38% в сентябре и 41% в октябре). (...) Рейтинг премьер-министра Беаты Шидло за месяц снизился на 6% (49% поддержки в сентябре, 42% в октябре), хотя количество противников премьер-министра не увеличилось (49% в сентябре и октябре)». («Жечпосполита», 10 окт.)

• Поддержка пар-тий: «Право и справедливость» — 43%, «Гражданская платфор-ма» — 21%, Кукиз'15 — 13%, «Современная» — 7%, крестьянская партия ПСЛ — 6%, Союз

демократических левых сил — 4%, «Вместе» — 3%, «Свобода» (бывшая КОРВиН — «Коалиция обновления Республики — воля и надежда») — 3%. Опрос агентства «TSN Kantar», 27–28 сент. («Факт», 2 окт.)

• «Рейтинг ПИС взлетел до 40%, рейтинг “Гражданской платформы” оказался меньше 20%, «Современная» всё никак не может преодолеть свои 10%, а крестьянская партия ПСЛ пытается перешагнуть избирательный порог (составляющий 5%). (...) После многотысячных демонстраций, направленных против политики правительства, значительно повысился рейтинг президента Дуды (по данным ЦИОМа, в сентябре ему доверяли 71% поляков — В.К.), равно как и рейтинг ПИС, дискутирующей с президентом. В то же время снизился рейтинг оппозиции, организовавшей демонстрации и принимающей в них активное участие. (...) Опросы общественного мнения показывают, что поляки негативно оценивают внешнюю политику нынешнего правительства, не поддерживают идею с репарациями за Вторую мировую войну, (...) не верят в теорию о смоленском заговоре, не хотят, чтобы католическая Церковь усиливала свое влияние на общественную жизнь, критически оценивают многие решения правительства, не слишком доверяют Качинскому и Мацеревичу, желают оставаться в составе ЕС, с которым ПИС усиленно конфликтует. Однако всё это никак не влияет на предпочтения избирателей. (...) Тем более, что, по данным нового опроса ВЦИОМа, после июльских протестов количество поляков, считающих демократию более оптимальным политическим режимом, чем все остальные, выросло до 71% (в ходе предыдущего опроса в пользу демократии высказались 67%). Правда, 23% опрошенных выступают за сильное, пусть даже и недемократическое правление, однако 62% выбирают демократию». (Мариуш Яницкий, Веслав Владыка, «Политика», 20–26 сент.)

• «Чем более радикально ПИС разрушает демократическую систему, тем больше людей поддерживают правящую партию. (...) Чем многочисленнее становятся демонстрации, тем ниже оказывается рейтинг оппозиции. (...) Пока еще есть иллюзии, что ПИС не пойдет на радикальное нарушение конституции, воздержится от очередных “реформ”, испугавшись предостережений Брюсселя и демонстраций. Однако границы невозможного становятся всё более подвижными. (...) А ПИС вновь и вновь получает от внушительной части общества очередной шанс». (Мариуш Яницкий, Веслав Владыка, «Политика», 11–17 окт.)

Экономическая жизнь

Позитивная установка польских потребителей, покупающих все больше продуктов питания и средств бытовой химии, — это, в частности, результат растущего оптимизма, в свете которого они видят свое экономическое положение.

Исследования фирмы «Nielsen» показывают, что с середины 2016 года заметен рост денежных расходов в этом сегменте потребительского рынка. Как заявил в интервью для польской прессы Шимон Мордасевич, управляющий директор фирмы в Польше, средняя оценка экономической ситуации в стране выше европейского уровня. Из исследования фирмы «Nielsen» следует, что 34% граждан чувствуют уверенность в отношении занятости; 40% опрошенных говорят, что сейчас хорошее время осуществлять покупки продовольственных товаров и бытовой химии. Это на 10% больше, чем в аналогичный период годом раньше. А 50% опрошенных положительно оценивают состояние своих финансов (в прошлом году — 40%). «Вывод простой, — говорит Шимон Мордасевич, — потребители хотят расходовать деньги, хотят воспользоваться благоприятной для себя ситуацией, и это подтверждается каждодневным потребительским поведением». В настоящее время стоимостная оценка сектора продовольственной торговли и бытовой химии (преимущественно чистящих и моющих средств) составляет около 250 млрд злотых. В течение ближайших пяти лет ожидается дальнейший рост порядка 2,5% в год.

Статистические данные показывают, что средний польский потребитель съедает в год 105 кг овощей и 53 кг фруктов. Это несколько меньше, чем показатели десятилетней давности. Лишь в последние два года покупается больше свежих продуктов, таких как овощи и фрукты. «Благодаря растущей сознательности общества и заботе о здоровье, потребление будет теперь расти», — считает Мирослав Мазурек, председатель правления Варшавского сельскохозяйственно-продовольственного оптового рынка в Бронише. Свою продукцию здесь продают около 20 тыс. польских садовых и сельских хозяйств. Это как производители овощей, так и садовники, а также цветоводы. По оценкам, годовой товарооборот рынка в Бронише достигает 1,2 млн тонн (овощи и фрукты отечественного производства и импортные). В Бронише везут продукцию производители со всей Польши, потому что рынок удачно расположен в центре страны. Разница

в сроках вызревания между югом и севером составляет около 30 дней. Когда созревают сезонные овощи и фрукты на юге, то север приезжает в Бронише за покупками. Когда заканчиваются фрукты и молодые овощи с юга Польши, то вызревают северные и из соответствующих регионов привозятся в центральную Польшу, на рынок в Бронише, а юг покупает.

Бытовая техника — одна из главных отраслей польского экспорта. На зарубежные рынки попадает в среднем свыше 80% продукции предприятий, расположенных в Польше. Стоимость этого экспорта уже превысила 16 млрд злотых в год и продолжает расти. Динамика еще усилится, поскольку на подходе новые проекты. Свое первое предприятие по производству стиральных машин хочет построить в Польше немецкий концерн «Miele». Завод вступит в строй в 2020 году, стоимость этой инвестиции — 44 млн евро. Будет создано 300 рабочих мест. Фирма BSH, производящая оборудование под марками «Bosch» и «Siemens», открыла во Вроцлаве два новых завода, где выпускаются кухонные плиты и холодильники. «Общая сумма инвестиций фирмы BSH составит 500 млн злотых, а число рабочих мест превысит тысячу. Предприятия ежегодно будут производить около 2 млн единиц оборудования», — говорит в интервью газете «Жечпосполита» Конрад Покутыцкий, президент BSH. Значительные инвестиции в Польшу планирует также американский «Whirepool», которому перешла итальянская группа «Indesit»: в рамках производственной программы для Польши в ближайшие годы предусмотрены общие капиталовложения порядка 300 млн евро. Деньги пойдут в Лодзь и Вроцлав. Реализация плана будет означать рост выпуска продукции группы «Whirepool» в Польше приблизительно на 15%.

«Инвестиции НАТО — это шанс для польских предпринимателей, поскольку заказы поступят преимущественно к ним», — говорит в интервью газете «Жечпосполита» президент Центра стратегического анализа и безопасности Мариуш Кордовский. Натовские заказы должны быть распределены главным образом между строительными предприятиями и фирмами, занимающимися информатизацией и системами связи. Бюджет программы инвестиций НАТО в Польшу на нынешний год составляет 231,5 млн злотых. Это более чем в три раза превышает бюджет предыдущего года. Как сообщает Министерство национальной обороны, будут модернизированы аэродромы. НАТО инвестирует также в обеспечение связи между центрами управления и боевыми самолетами, что означает оснащение их

специализированным оборудованием. Кроме того, будут обновлены системы связи Военного флота. Инвестиции являются частью программы по укреплению восточного фланга НАТО. Новую инфраструктуру получают натовские части в Быдгоще и Учебный центр Объединенных сил, а также так называемая интеграционная группа, которая готовит переброску передовых отрядов НАТО в Польшу. Благодаря заказам Министерства национальной обороны, подлинный расцвет переживает польская военная промышленность. Польская Группа производства вооружения (60 объединений, 20 тыс. работников) на некоторых предприятиях планирует ввести сменную работу, а ведь еще недавно рабочую неделю сокращали до четырех дней и водили укороченный рабочий день. Металлургический комбинат «Сталёва Воля» за более чем 4 млрд злотых поставляет гаубицы «Краб» и выполняет миллиардный заказ на минометы «Рак». На механическом заводе MON в Тарнове размещен заказ на противовоздушные комплексы «Пилица», а на заводе MESKO — на сотни переносных пусковых установок и 1300 ракет «Пёрун».

«Большая стена покрыта мхом. Вроде ничего особенного, но этот мох обладает свойством поглощать пыль. Он просто съедает смог», — пишет Доминика Вантух в «Газете выборчей». Эффективность такого мха как у 275 деревьев, в прошлом году он был удостоен присуждавшейся второй раз премии «Смоготон». Тогда исследователи всего мира показывали в Варшаве, как передовые технологии могут помочь в борьбе со смогом. Это был самый крупный антисмоговый конкурс в мире. Демонстрировались, в частности, семиметровый пылесос, поглощающий смог, устанавливаемая на крышах шаровая панель, которая очищает воздух и производит экстракт питьевой воды, карманный очиститель воздуха. На конкурс были представлены также идеи переработки смога во что-то полезное — например, в бриллианты или чернила. Принявшие в конкурсе участие группы из Франции показали, как бороться со смогом, идущим из домашних дымоходов, а также проекты фильтров для выхлопных труб автомобилей. Ежегодно из-за смога в Польше умирает 48 тыс. человек, а в мире — 7 миллионов.

Будут новые рабочие места и привлекательные заработки (без ограничений верхнего предела) для учителей рабочих специальностей. В начальных школах появятся консультанты по профориентации, который помогут ученикам в выборе соответствующего направления обучения, а в работе экзаменационных комиссий, проверяющих профессиональные навыки, будут участвовать представители работодателей. Это

лишь некоторые пункты программы реформы профессионального обучения, о которых пишет Анита Блащак на страницах газеты «Жечпосполита». Реформа должна революционизировать подготовку специалистов, отвечая на потребность фирм в персонале. С сентября текущего года профессиональные училища реорганизованы в трехлетние отраслевые школы первой ступени, а срок обучения в техникумах увеличен до пяти лет. По мнению Моники Рудницкой, специалиста по вопросам рекрутинга и развития «Solaris Bus and Coach», перемены идут в нужном направлении. Ценной инициативой является введение консультаций по профориентации в школе, а также снятие ограничений, касающихся размера вознаграждений учителей рабочих специальностей. «Если мы хотим иметь в профессиональных школах хороших специалистов, им надо хорошо платить», — заявляет М. Рудницкая. Многие зависят также от самих училищ, которые не всегда открыты к сотрудничеству с работодателями.

Е.Р.

Быть лютеранином в Польше

Мы въезжаем в небольшую деревню, лежащую среди лесов северной Польши. Издали на краю деревни видна какая-то растительность; возможно, это заброшенный сад или просто остатки леса, который, должно быть, когда-то охватывал деревню с этой стороны. Вблизи уже видно. Среди густых зарослей заметны отдельные надгробия, земля покрыта одичалым плющом, посередине «рощицы» идет короткая аллея старых лип, остальные деревья — молодые клены, самосеи. Бывшее евангелическое кладбище. Сразу за ним — стрелчатое здание из красного кирпича. Продается. Десятилетиями оно служило местному кооперативу в качестве склада. С тех пор, как кооператив пришел в упадок, храм-склад стал никому не нужен, превратившись просто в балласт. Может быть, кто-то сжалится и еще использует его для чего-нибудь.

Бывшее евангелическое. Такая ассоциация, наверное, возникает в головах у большинства поляков, особенно, живущих в западной части нашей страны, при слове «евангелист». Евангелист как вымерший вид. Впрочем, «бывшее евангелическое», — это лишь более тактичное, научное выражение вместо «бывшее немецкое». Выражение, которое осталось на этих землях после тех, кто был здесь раньше и отличался от нас не только языком и национальностью, но еще и вероисповеданием. Мы присвоили их здания, наши католические костелы находятся в бывших евангелических кирхах, а старые, неиспользуемые кладбища превращены в парки либо зарастают, брошенные на отшибе. Тем временем, протестантство принадлежит к самому сердцу польской исторической идентичности. В начале Реформации, когда Мартин Лютер и другие реформаторы поставили под сомнение старинные обычаи и приступили к делу обновления Западной Церкви, Польша была одной из первых стран, где привились новые идеи. В 20-х и 30-х годах XVI века лютеранские идеи были восприняты во многих польских городах, чтобы во второй половине XVI века отдать первенство кальвинистской реформации, которая стала особенно популярной среди польской шляхты, а также пользовалась поддержкой Чешских братьев, наследников радикального течения гуситской реформации, бежавших из-под власти Габсбургов. Не случайно именно вассал польского короля, великий магистр ордена крестоносцев, а впоследствии герцог Пруссии, создал первое в мире протестантское (лютеранское)

государство. С тех самых пор как появился протестантизм, были и протестанты-поляки, принимавшие участие в главном потоке событий польской истории.

Впрочем, сосуществование различных протестантских конфессий носило в Польше исключительный характер в масштабе всей Европы. Во второй половине XVI века польская евангелическая шляхта вначале заключила Сандомирский договор, в котором сторонники различных течений протестантизма взаимно признавали право друг друга на существование и обещали взаимную помощь. Вскоре после этого вся польская шляхта, протестантская и католическая, основала Варшавскую конфедерацию и признала право каждого шляхтича на выбор собственного вероисповедания.

Одновременно польские короли предоставляли привилегии все новым городам, в особенности на севере Польши, и так укрепилась польская евангелическая традиция. Главнейшие города северной Польши — такие как Гданьск или Торунь — были преимущественно лютеранскими, а реформированный евангелизм исповедовали представители знатнейших родов современной Речи Посполитой (наиболее известным примером являются литовские Радзивиллы), в результате чего в XVI и XVII веках многие ключевые должности в Речи Посполитой занимали протестанты. Благодаря существованию этого хрупкого, как оказалось, равновесия, уже в середине XVII века происходили столь исключительные события, как созданный под патронатом короля и примаса *Colloquium Charitativum* в Торуне. Это был большой диалог католических, лютеранских и кальвинистских богословов, который должен был привести к долгосрочному объединению трех главных течений западного христианства в Речи Посполитой.

Вскоре, однако, дела пошли плохо. Деятельность иезуитов способствовала разжиганию конфронтационных настроений, вначале среди католиков, а потом и среди сторонников евангелических конфессий. Власть всё больше принимала сторону католиков. Нарастала агрессия, символической кульминацией которой в начале XVIII века стали волнения, произошедшие в том же Торуне. В них погибли многие ученики местной евангелической Академической гимназии и представители протестантской элиты города. Торунь на долгие годы стал символом польской религиозной нетерпимости — это был первый момент, когда в нашей стране католики начали захватывать храмы евангелистов. Со временем собственные польские евангелические традиции стали отмирать, протестантское меньшинство начало размываться в католическом большинстве.

Так что у нынешнего польского евангелизма очень непростая история. С одной стороны, он может ссылаться на великую

протестантскую традицию, с которой, однако, у него нет преемственности. Уцелевшие польские евангелисты в XIX веке нашли убежище в структурах евангелических Церквей немецкого языка, утратив связь с польской идентичностью. С другой стороны, в то же самое время в Польшу прибывали иммигранты, прежде всего, экономические, из протестантских стран. Следующие поколения этих поселенцев, жившие в Польше, не отказывались от веры своих предков, сохраняя живые протестантские традиции. Но одновременно ослаблялась связь с культурой страны происхождения, и дети либо внуки иммигрантов обретали польскую идентичность. Так возникали важнейшие польские евангелические общины в таких городах, как Варшава — общины, внесшие большой вклад в развитие своих местных сообществ и Польши в целом. Они строили больницы, организовывали образование, а когда наступало время испытаний, становились на защиту польских национальных интересов. Немало евангелистов было среди солдат и офицеров, принимавших участие в войне 1920 года, среди защищавших отечество в сентябре 1939-го, среди жертв Катыни и немецких концентрационных лагерей, а евангелические церкви пострадали во время боев и варшавского восстания наравне с католическими (главный лютеранский собор Варшавы, церковь св. Троицы XVIII века, сгорел в результате немецкой бомбардировки еще при осаде столицы в сентябре 1939 года). Наиболее известным евангелическим мучеником Второй мировой войны является епископ Юлиуш Бурше, глава польских лютеран, арестованный немцами уже через месяц после начала войны. В неволе, под пытками, он не поддавался на уговоры отказаться от польской национальности и умер от истощения в берлинской тюрьме в 1942 году.

Несмотря на все исторические разрывы и повороты, уцелела одна нить польского протестантизма, которая существует непрерывно со времен реформации, именно она прочнее всего соединяет отдаленное прошлое с настоящим: Тешинская Силезия. Маленький регион у чешской границы, прямо к югу от Катовице, в XVI веке представлял собой отдельное княжество. Его правитель из рода Пястов провел обновление местной Церкви в духе реформации, а его подданные — несмотря на преследования со стороны австрийских властей — столетиями сохраняли евангелическую веру (до сих пор в Силезии можно увидеть т.н. лесные церкви — укрытые в горах места, где местные лютеране собирались на богослужения, когда австрийцы отбирали у них кирхи). Именно в Тешинской Силезии и сегодня можно найти районы, в которых большинство населения составляют евангелисты, отсюда родом значительная часть польских лютеранских

священников, а также евангелических обычаев, песен и учреждений.

Читатель, конечно, обратил внимание, что в своем тексте я использую несколько различных понятий: «протестант», «евангелист», «лютеранский» и «кальвинистский». Они не равнозначны и их стоит здесь разъяснить. Протестант — это наиболее широкое понятие, употребляемое для определения любого ответвления Западной Церкви (а следовательно, происходящего от древних и средневековых христиан, пользовавшихся латынью), которое не признает притязаний папы (епископа Рима) на власть над всем христианским миром. Одним словом — любой, кто «протестует». Первые два столетия после Реформации (то есть после обновления Западной Церкви, начавшегося в 20-е годы XVI века, отвергнутого Римом, но поддержанного местными правителями и ставшего массовым благодаря новому изобретению книгопечатания), протестантизм был равнозначен с евангелизмом. Следующее понятие — это евангелизм, то есть возвращение к Евангелию, принятие Библии, а в особенности книг Евангелия, содержащих учение самого Иисуса Христа, за меру, в соответствии с которой строится жизнь и учение Церкви. Это название, определенно, будет ближе сердцу большинства протестантов-евангелистов, поскольку указывает на нечто позитивное, а не только на сопротивление, на несогласие со злоупотреблениями папы Римского. В XVIII веке начинается процесс дальнейшего развития протестантизма и возникновения многих новых христианских конфессий. Он продолжается до сих пор, особенно живо в Америке, Африке и Азии. Еще и поэтому понятие «евангелизм» употребляется сегодня в Польше, прежде всего, для обозначения старинных протестантских конфессий, начала которых уходят во времена Реформации либо немного позже. В результате у нас есть аугсбургские евангелисты (лютеране), евангелисты-реформаты (кальвинисты), а также методистские евангелисты (методисты).

В случае лютеран и кальвинистов названия указывают на важнейших реформаторов, которые положили начало этим традициям в XVI веке: Мартина Лютера и Жана Кальвина. Методисты — это направление евангелизма, сформировавшееся в Англии в начале XVIII века и пришедшее в Польшу через несколько десятилетий. Аугсбургские евангелисты, то есть лютеране, своим официальным названием отсылают к т.н. Аугсбургскому исповеданию, одному из первых документов, в которых сторонники реформаторских идей Мартина Лютера систематическим образом выразили свое кредо и взгляды на церковные дела.

Евангелисты-реформаты, в свою очередь, указывают на процесс радикальных реформ, проведенных вначале среди швейцарских и эльзасских христиан. Хотя обе эти конфессии ведут свое происхождение со времен самой Реформации, между ними есть существенные различия. Реформаты пошли значительно дальше в отрицании прежних религиозных обычаев и в сомнениях относительно истинности доктрины, унаследованной от латинского средневековья. Одно из наиболее важных на сегодня различий состоит в подходе к Таинству алтаря — Вечере Господней, называемой в католицизме Святой Мессой либо евхаристией. Если лютеране верят в действительное присутствие Иисуса Христа в виде хлеба и вина во время совершаемой службы и даваемого верующим причастия, то реформаты считают присутствие Иисуса исключительно символическим. Несмотря на это, в настоящее время действует общность амвона и алтаря между двумя этими конфессиями: польский лютеранин теперь может даже принадлежать к реформатскому приходу и наоборот. Поскольку автор лютеранин, в остальной части данного текста он сосредоточится, прежде всего, на опыте современного польского лютеранства.

В результате своей сложной истории лютеранство присутствует в Польше весьма неравномерно. Сильные — хотя не столь уж многочисленные (от нескольких сот до двух тысяч членов) — общины находятся в крупнейших польских городах. Кое-где, в небольших городках и деревнях, встречаются мелкие приходы, оставшиеся после переселенцев XIX века. И наконец, мощный центр польского лютеранства находится в Верхней Силезии, особенно вокруг Цешина. Единственная нынешняя польская лютеранская Церковь появилась после обретения Польшей независимости в 1918 году. Ощущавшие себя польскими лютеранские общины, либо существовавшие самостоятельно, либо принадлежавшие к Церквям разных стран (австрийской, прусской и т.д.), объединились в единый организм. В дополнение они получили от польского Сейма свой собственный устав и стали общепризнанной религией в новой Польше (лютеранином был даже маршал Юзеф Пилсудский, сменивший вероисповедание — он родился католиком — чтобы заключить второй брак, что в католицизме до сих пор теоретически невозможно).

Что существенно, в межвоенной Польше польская лютеранская церковь была не единственной: в западной Польше существовала также более многочисленная, богатая и определенно более сильная немецкая лютеранская церковь. Это она «исчезла» в 1945 году сразу после войны, и это после нее остались все «бывшие евангелические» кладбища и здания в западной Польше. К самым большим парадоксам относится тот

факт, что отдельные евангелические кирхи и здания захватили у нее сами евангелисты: после выселения немцев-лютеран их храмы захватывали гораздо меньшие общины польских евангелистов, которые до войны пользовались, в лучшем случае, небольшими часовнями. Так, например, произошло в Быдгоще. Под давлением коммунистических властей уцелевшие члены немецкой лютеранской церкви вынуждены были вступить в польскую церковь, и таким образом с 40-х годов в Польше существует одна Евангелическо-Аугсбургская церковь.

Лютеранская церковь в Польше насчитывает сегодня около семидесяти тысяч верующих, около половины которых живет в Силезии. Хотя главой и пастырем Церкви является епископ, верховная власть в Церкви принадлежит синоду, собранию духовных и светских лиц, имеющих решающее влияние на церковные дела. Точно так же это выглядит на уровне епархии и прихода: рядом с епископами и настоятелями находятся епархиальные и приходские советы, и именно у них есть право принимать решения; священнослужители отвечают, прежде всего, за пастырскую опеку. Более того, священников не «присылают сверху» в приход или епархию, а выбирают на местах. На уровне прихода в выборах участвуют все прихожане, а перед выборами, по воскресеньям, священники-кандидаты представляются, проводя богослужение и читая проповедь. Евангелисты демонстрируют, что и в Польше демократия в Церкви вполне возможна и прекрасно себя оправдывает. Помимо приходов и епархий, лютеранская церковь имеет также благотворительные, евангелизационные организации, а также является одной из церквей, создавших уникальную высшую школу в масштабе всей Европы. Экуменическая Академия христианской теологии, ведущая свое происхождение от бывших некатолических кафедр теологии Варшавского университета, убранных из него в сталинские времена, обучает православных и протестантских священников различных традиций. Именно в ней — на двух факультетах, теологическом и педагогическом — получают образование также священники и преподаватели лютеранской религии.

Количество лютеран в Польше удерживается на относительно постоянном уровне уже много лет. Большую роль в этом процессе играют обращения, то есть переходы из других христианских конфессий — прежде всего, из римского католицизма — в лютеранство. Иначе наше небольшое меньшинство постепенно растворялось бы в католическом большинстве. Обращение не требует повторного крещения; впрочем, чтобы принять причастие в лютеранской церкви, не нужно быть лютеранином: достаточно крещения в любой

христианской Церкви и веры в действительное присутствие Иисуса в принимаемом хлебе и вине (причастие всегда подается в двух видах!).

«Обыденная» жизнь лютеранина в Польше — это, прежде всего, еженедельное воскресное богослужение. В зависимости от местной традиции, оно будет либо всегда объединено с Таинством алтаря, исповедью и причащением, либо же по обыкновению ограничится чтением Библии и проповедью, а причащение происходит раз в какое-то время. Важным элементом любого богослужения всегда становятся песни. Для евангелиста ключевым является небольшой толстый том «Евангелического песенника», который содержит несколько сот песен, переведенных с разных языков (главным образом с немецкого) либо написанных польскими авторами со времен Реформации до наших дней. В каждой из них много куплетов, она поется всей общиной в сопровождении органа, а таких песен во время богослужения исполняется, по меньшей мере, несколько. В течение недели в приходе появляются в первую очередь родители с детьми. Хотя в Польше религия — обычный школьный предмет, но из-за преобладания католицизма в школах не учат лютеранской религии, кроме таких исключительных мест, как Тешинская Силезия. В связи с этим детям приходится посещать уроки в приходе, что укрепляет чувство сплоченности. Связь с приходом, вообще, очень сильна в силу демократичных нравов, а также благодаря церковному налогу: каждый лютеранин предназначает 1% своих доходов на нужды прихода и Церкви (без оплаты этого налога он не имеет права голоса в советах и на собраниях).

Не существует единого правила относительно возраста, в котором дети польских лютеран принимают крещение. Популярно как крещение младенцев, так и приведение к крещению детей постарше, в дошкольном либо младшем школьном возрасте — то есть детей, которые могут уже вполне осознанно пережить обряд включения их в церковную общину. В то же время, редко практикуется крещение взрослых. В подростковом возрасте ключевым моментом для молодого лютеранина становится конфирмация. Это публичное исповедание веры, происходящее во время торжественного богослужения. Молодые люди, совершая исповедание веры, также представляются приходской общине и в первый раз принимают причастие. С момента конфирмации они становятся полноправными прихожанами, на правах взрослого человека (даже если формально они еще несовершеннолетние). К конфирмации допускаются молодые люди, которые уже учатся в средней школе. Несколько лет они готовятся к этому моменту, с детского сада посещая не богослужения для взрослых в приходской церкви, а т.н. воскресную школу. Это

специальные детские богослужения в отдельном зале, проводимые преподавателями религии, во время которых дети изучают Библию и устанавливают дружеские отношения с ребятами из своего прихода. Так что, конфирмация — это во многих смыслах переход из детского мира в мир взрослых. Обряд конфирмации представляет собой еще одно существенное различие между евангелистами и католиками в Польше. Хотя у римских католиков существует таинство миропомазания, принимаемое подростками (конфирмация, впрочем, не обладает статусом таинства, поскольку ее не установил непосредственно сам Иисус), оно не имеет столь большого значения в социальном измерении. Такую функцию — ключевого ритуала инициации — исполняет т.н. Первое святое причастие. Это особо торжественная месса, во время которой восьми-девяtilетние дети впервые принимают освященный хлеб. В результате случаются забавные ситуации, например, во время евангелических крещений, на которые приходят родственники и друзья, исповедующие католицизм. Десятилетние католики принимают причастие в лютеранской церкви, тогда как их ровесники-лютеране могут лишь наблюдать это: им придется подождать, пока они достигнут большей зрелости. В день Первого причастия в Польше обычно организуются большие семейные праздники, «маленькие свадьбы», а дети, приводимые к Первому причастию, получают очень дорогие подарки (общая стоимость которых нередко приближается к размеру средней зарплаты). Молодым лютеранам этого не дано. Хотя конфирмация — необыкновенно важное событие в жизни лютеранской семьи, «светский» аспект этого события никоим образом не сравним с католическим Первым причастием.

Быть лютеранином в Польше — это быть в меньшинстве. Насколько — показывает слово, которое мы, лютеране, употребляем, говоря о наших братьях-католиках: «Церковь большинства». Та, что задает тон, доминирует, та, которой мы должны подчиняться во многих делах, касающихся взаимоотношений государства с церковью, которая нередко может нас просто игнорировать. В то же время мы — меньшинство, которое вызывает живейший интерес. Оказывается, что поляк может быть христианином, но не обязан во всем слушаться папу Римского. Что он может решать, кто будет священником в его приходе. Что может сам толковать Библию и иметь собственные взгляды. Что можно быть христианином и не соглашаться с весьма консервативным учением католической Церкви. У лютеран часто значительно более осторожная позиция по таким вопросам как разводы, аборт, искусственное оплодотворение. Впрочем, эти позиции формулируются Синодом, а не

епископом, и ни в коем случае не обязательны для евангелистов. Окончательное решение остается за личной совестью, и ни у кого в лютеранской Церкви нет проблем с тем, что существует разнообразие взглядов... здесь вновь проявляется евангелическая демократичность!

Ничего удивительного, что в моменты громких нравственных дискуссий интерес СМИ к нашей Церкви возрастает: так происходит хотя бы тогда, когда вновь встает вопрос о полном запрете аборт — тогда либеральная сторона охотно ссылается на нас, хотя наша Церковь, конечно, предпочла бы остаться в тени. Наверное, наибольшее удивление у большинства поляков вызвал бы тот факт, что на практике у нас уже полностью существует «женское священничество»: хотя женщины еще не могут становиться настоятельницами, то есть самостоятельно руководить пастырской деятельностью в приходе, но они совершают Таинство алтаря и уже много лет проповедуют. Впрочем, в действительности речь здесь идет не о вопросе священничества в католическом понимании — священнослужителем и так является любой крещеный — а о том, кто исполняет конкретные обязанности и службы в нашей Церкви. Опять же, ведущая роль женщин — это всё-таки не то, что мы хотели бы афишировать, опасаясь реакции «старшего брата».

Несмотря ни на что, лютеранин или шире евангелист — в Польше по-прежнему экзотика. Несколько десятков тысяч человек — это немного в почти сорокамиллионной стране. Подавляющее большинство поляков за всю свою жизнь не встретят евангелиста, если сами не приложат к этому усилий. Как результат, господствует множество недоразумений, ошибочных представлений на тему нашей Церкви. Особенно болезненно для нас в этом контексте сращение «поляк-католик», которое начало приобретать особое значение в начале XX века, когда зародился польский национализм в духе Романа Дмовского. Чтобы усилить польскую идентичность, Дмовский объединил ее с вероисповеданием, противопоставив русскому-православному и немцу-протестанту. Тем временем, действительность не столь проста, и на протяжении веков польскость никогда не замыкалась в одной христианской конфессии, но всегда была многоцветной. Однако до сих пор, особенно для тех, кто переходит в лютеранство из католичества, это идеологическое сращение религии и национальности остается источником самых болезненных стрессов.

Лютеранская Церковь, пусть и столь малая, очень жизнеспособна. В ней есть люди, которые являются лютеранами в нескольких поколениях: именно они передают традицию, ставшую стержнем нашей идентичности. В то же

время, лютеранские приходы полны увлеченных людей, выбравших лютеранство уже взрослыми, потому что наша Церковь признает свободу человека и избегает осуждения кого-либо, позволяет жить близко к Евангелию и одновременно наслаждаться прекрасной, старинной литургией (в лютеранском богослужении больше средневековых элементов, чем в новой латинской мессе, разработанной после Второго Ватиканского собора!). О жизненности польского евангелизма — от его начал до наших дней — также свидетельствует всё еще слабо изученное «протестантское измерение» польской литературы, от ренессансного поэта Миколая Рея до современного писателя Ежи Пильха. Небольшая лютеранская община — это закваска, которая на протяжении поколений обогащает польское христианство и напоминает ему о его великих реформаторских традициях.

Автор выражает благодарность представителю Евангелическо-Аугсбургской церкви в РП Агнешке Годфреюв-Тарногурской за предоставленную консультацию.

Виктор Ворошильский

Упрямство Мартина Лютера

Перевод Игоря Белова

На том стою При своем остаюсь Настаиваю
Я готов себя выставить вам на посмешище
Быть шутом и крикливым ослом но не даром
через ослицу Господь говорил с пророком
Ничтожный и падший могу я быть кем угодно
На том стою При своем остаюсь Настаиваю
Моя ли рука написала все эти слова
Готов ли раскаяться я и взять их обратно
Господа мудрецы Что мое – то мое
Подбородок тяжелый и толстые пальцы
Тело – словно пивной бочонок И совесть
в недрах которой свила гнездо моя вера
Слова эти тоже мои От пальцев не отрекусь
Подбородок не станет другим а живот
останется животом Совесть останется совестью
Господа мудрецы

Я срываю покров со всего
станут прахом и дымом титулы и обряды
станут дымом звон колокольный и позолота
Я гляжу в этот дым Дымовую завесу
отодвинул я будто штору и рву на части
Отделяю закон от правды и поскорее
развожу их по разным сторонам света
Разве нуждается праведник в букве закона
Плодоносит ли гордая яблоня по приказу
Толкователя истин в последней инстанции
прочь я гоню Это легче любого вздоха
вечернего бриза Так что я даже не дрогну
На том стою При своем остаюсь Настаиваю
Здесь я врастаю ногами в камень изранив стопы
словно трава оплетаю подземные своды
и пускаю могучие корни в глубинах почвы
всем своим существом Пузатым мешком гороха
Круглым бочонком пивным Громадой этого тела
Не сдвинуть его не сокрушить не овладеть им
не стереть в порошок не развеять не победить
На том стою При своем остаюсь Настаиваю

Аминь

Культурная хроника

42-й Фестиваль польских художественных фильмов в Гдыне (18–23 сентября) принес победу дебютанту Петру Домалевскому. «Золотых львов» удостоена его «Тихая ночь», рассказывающая о семье, собравшейся вместе на Рождество. «Серебряные львы» достались фильму о последствиях геноцида в Руанде «Птицы поют в Кигали» покойного уже Кшиштофа Краузе и его жены Иоанны Кос-Краузе. «Платиновых львов» за совокупность творчества получил режиссер Ежи Груза, автор таких фильмов, как «Дятел» и «Переселение», создатель популярных сериалов «Домашняя война» и «Сорокалетний», а также легендарных спектаклей Театра телевидения, в том числе «Ревизора».

Всего в Гдыне было показано более 150 фильмов, среди которых 17 — в главном конкурсе. Фестиваль открылся показом фильма «Твой Винсент» — первой полнометражной анимации, выполненной в технике живописи; каждый из 65 тыс. кадров был нарисован вручную. В этом польско-британском проекте приняли участие 125 профессиональных художников со всего мира, оживившие на экране мир, который мы знаем по картинам Винсента Ван Гога. В основе захватывающего детективного сюжета фильма лежат письма художника и его брата Тео. Похоже, что созданный на студиях Вроцлава и Лондона «Твой Винсент» имеет хорошие шансы оказаться в числе кандидатов на «Оскар» будущего года.

Министр культуры и национального наследия Петр Глинский освободил с 9 октября Магдалену Сроку от должности директора Польского института киноискусства, до истечения контракта. Г-жа Срока выполняла функции директора с 3 октября 2015 года, контракт был заключен до 2020 года. Поводом для отставки названа «утрата доверия» в связи со злосчастным письмом, отправленным Объединению американских продюсеров в США уже уволенной сотрудницей Института. «Сразу после завершения 42-го Фестиваля художественных фильмов в Гдыне, признанного одним из лучших в истории, в первую годовщину кончины маэстро Анджея Вайды, я оказывалась уволенной с поста шефа Польского института киноискусства», — написала М. Срока в официальном заявлении, добавив, что, «по мнению Совета института, это решение незаконно». Уволенная г-жа директор рассказала Польскому агентству печати ПАП, что решение не

было для нее сюрпризом, поскольку «представители ведомства культуры уже несколько месяцев безуспешно пытались заставить меня подать в отставку».

Решение министра вызвало протесты в профессиональной среде. «Институт кинематографистов, а не политиков» — под таким лозунгом протестовали работники киноиндустрии и актеры возле варшавской резиденции Института. Открытое письмо министру Глинскому направил президент Европейской киноакадемии Вим Вендерс. Он, в частности, пишет: «Ваше решение — это свидетельство недостатка уважения к культуре и художественной свободе, и мы — члены Европейской академии — этим весьма обеспокоены. Случившееся показывает недалекость властей, которые пробуют подчинить культуру и искусство своим политическим интересам. Вместо того, чтобы гордиться достижениями польского кинематографа, который сегодня добивается, пожалуй, наибольших успехов в Европе, вместо того, чтобы беречь и орошать это прекрасное древо, произрастающее в вашем саду, — вы перекрываете ему воду. И делаете это без оглядки на протесты Совета института киноискусства, игнорируя многочисленные голоса польской общественности, которая просит Вас отозвать решение».

Отвечая Вендерсу, министр Глинский заявил, что «польское кино, демократия и художественная свобода в хорошем состоянии», а упреки, связанные с увольнением директора Института киноискусства Магдалены Сроки, называет «несправедливыми и не имеющими подтверждения фактами». Министерство объявит конкурс на должность нового директора, а директорские обязанности министр Глинский временно передал Изабелле Кишке-Хофлик, которая с марта выполняла функции пресс-секретаря директора Института киноискусства.

Цезарий Лазаревич стал лауреатом премии «Нике» 2017 года. Лучшей книгой года жюри под председательством Томаша Фиалковского признало его репортаж «Чтобы не было следов. Дело Гжегожа Пшемька». «Цезарий Лазаревич ничего не ретуширует, — сказал в речи в честь лауреата Томаш Фиалковский. — Во имя правды он пытается скрупулезно восстановить обстоятельства смерти варшавского старшеклассника, сына Барбары Садовской — поэтессы, деятеля оппозиции. Эта книга может также служить предостережением: нельзя допустить, чтобы правосудие утратило независимость и стало инструментом политической власти». Главная польская литературная премия была вручена в ходе торжественной церемонии 1 октября в Варшаве. Впервые в истории премия «Нике» была присуждена за репортаж. «Это

должна была быть книга о временах, которые уже никогда не повторятся, о том, как ложь побеждает, — сказал автор, получая статуэтку «Нике». — Когда я ее завершил, описывая механизмы власти 30-летней давности, то внезапно понял, что они вечны. То, что происходит сейчас, очень напоминает те механизмы, которые, как мне казалось, никогда не вернуться. Я надеюсь, что через 20 лет кто-то опишет сегодняшние механизмы власти и, быть может, тоже за это получит премию».

Награду читателей «Газеты выборчей» получил Станислав Лубенский за сборник эссе «Двенадцать сорок за хвост».

В нынешнем году лауреатами премии им. Беаты Павляк — журналистки, которая 15 лет назад погибла при террористическом акте на острове Бали, — стали Кшиштоф Копчинский и Анна Саевич, авторы репортажа «Дибук. Повесть о несущественности мира». Удостоенная премии книга — это дополнение к их документальному фильму под тем же названием. Марек Радзивон написал о лауреатах: «Копчинский и Саевич концентрируются на взаимоотношениях хасидов из Израиля, приезжающих как паломники в Умань, и жителей этого города, при этом они охотно выходят за пределы очевидной дихотомии «свой — чужой», «местный — иностранец». Кроме того, в книге представлена интересная панорама современной Украины — молодого государства, борющегося с многочисленными трудностями: постсоветским прошлым, проблемами с Россией. Повествование доводит до современности, до протестов на Майдане, аннексии и оккупации Крыма, войны в Донбассе». Премия им. Беаты Павляк присуждается с 2003 года за изданные по-польски книги и статьи на тему иных культур, религий и цивилизаций.

Ченстохова почтила память Халины Посвятовской. В 50-ю годовщину смерти поэтессы прошли концерты, встречи, открыта мемориальная доска на здании Первого общеобразовательного лицея им. Юлиуша Словацкого, где она училась. В «Доме поэзии» Музей Халины Посвятовской впервые представил на обозрение некоторые документы (в том числе собственноручные записи поэтессы) и фотографии 50-х и 60-х годов XX века. Посвятовская родилась в 1935 году в Ченстохове. Это была привлекательная, красивая женщина, чья жизнь осложнялась серьезной болезнью сердца, которая, после двух операций, привела к преждевременной смерти в возрасте 32 лет. Поэтесса относилась к так называемому поколению «Вспулчесносци». Ее стихи, главным образом, посвящены любви, смерти и хрупкости жизни. «Халина Посвятовская, писавшая о любви и умершая молодой, окружена в связи с

этим флером сентиментальности. Однако если глубже познакомиться с ее биографией, то можно обнаружить и другое ее лицо — она бывала озлобленной, эгоцентричной, упрямой. И должна признать, это второе лицо Посвятовской для меня более притягательно», — сказала в интервью агентству ПАП Калина Блажеёвская, автор изданной несколько лет назад биографии поэтессы «Упрямое сердце».

На сцене театра «Новы» им. Казимира Деймека в Лодзи 13 октября прошел предпремьерный показ «Фабрики мухобоек» на основе одноименной книги Анджея Барта. Герой спектакля — Хаим Румковский, глава юденрата Лодзинского гетто. Режиссером выступил сам автор романа. «Это спектакль об одной из наиболее противоречивых фигур современного мира. Я присматривался к этому персонажу много лет, рассказал о нем сначала в книге, потом в радиопередаче. Намереваюсь также снять о нем фильм», — сказал Анджей Барт накануне репетиций спектакля.

На сцене театра «Новы» представлен воображаемый суд над Румковским, в ходе которого выступают свидетелями жители гетто. По мнению историка Моники Полит, написавшей биографию Румковского, еще до войны он был харизматическим лидером, умевшим объединять людей вокруг себя. Во время оккупации стали знаменитыми его речи, обращенные к жителям гетто, где этих выступлений с нетерпением ждали. В историю вошла речь 4 сентября 1942 года, в которой он призвал жителей гетто отдать своих детей для спасения других узников. Во время акции, получившей название «Большая зачистка», немцы вывезли из Лодзинского гетто в лагерь уничтожения в Хелмно-над-Нером неспособных к труду — детей младше десяти лет, стариков и больных. Тогда погибло от 15 до 20 тыс. евреев.

В Национальном музее в Варшаве с 5 октября можно посмотреть выставку «Бидермейер», на которой представлено более 400 прекрасных предметов: картины, мебель, стекло, фарфор, ткани, одежда, а также безделушки, — все то, что наполняло повседневную жизнь зажиточного мещанства в XIX веке. Экспонаты собраны преимущественно из польских собраний, лишь некоторые доставлены из Брно и Кельна. Это первая в Польше столь крупная монографическая выставка, посвященная стилю бидермейер, который в Центральной Европе был связан прежде всего с мещанством, тогда как в Польше это сословие сложилось лишь в незначительной мере. Об этом парадоксе говорит одна из кураторов выставки Агнешка Розалес Родригес: «В польских условиях в стиле бидермейер охотно обустраивали интерьеры своих домов, вилл

и усадеб также помещики. Можно сказать, что герой польского бидермейера — это шляхтич, который живет по-мещански, а бидермейер в Польше — это усадебный стиль». Выставка открыта до 7 января 2018 года.

На осеннем аукционе старого искусства «DESA Unicum» в Варшаве малоизвестная картина Яцека Мальчевского «Гений в мастерской художника» была приобретена коллекционером за 840 тыс. злотых. В центре полотна находятся две обнаженные фигуры, а за их спинами — выстроившиеся друг за другом мальчики, мужчины и старики с очень похожими лицами. Аналогичные сюрреалистические очереди присутствуют в знаменитых композициях Мальчевского «Меланхолия» и «Порочный круг». Картина «Гений в мастерской художника» последний раз была показана в 1939 году на посмертной выставке Мальчевского.

Татровский музей в Закопане обогатился картиной Леона Вычулковского «Кедровая сосна в Татрах», вдохновленной японским искусством. Картина, находившаяся в частной коллекции, была приобретена на аукционе (с финансовым вспоможением министра культуры) за 47 тыс. злотых. Леон Вычулковский (1852—1936), считающийся одним из наиболее выдающихся пейзажистов Татр, был также выдающимся представителем польского «японизма», как и Ольга Бознанская, Юзеф Панкевич или Станислав Выспанский. Купленная музеем картина была написана в 1917 году и изображает кедровую сосну возле горного озера Морское Око на фоне вершин. Картина будет экспонироваться в главном здании Татровского музея на улице Крупувки в Закопане до 7 января 2018 года.

200-летие отмечает Национальная библиотека имени Оссолинских, или Оссолинеум. 14 октября во Вроцлаве прошла Юбилейная ночь. Был открыт бесплатный доступ ко всем собраниям, среди которых хранятся настоящие сокровища, например, первопечатные «De revolutionibus...» Николая Коперника, «Песни» Яна Кохановского, а также рукопись «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. Первый раз были показаны акварели выдающегося художника эпохи романтизма Петра Михаловского «Французский дилижанс» и «Томашевское мещанство», приобретенные у частного коллекционера из США. Национальная библиотека имени Оссолинских с резиденцией во Львове была основана в 1817 году графом Юзефом Максимилианом Оссолинским — ученым, библиофилом и коллекционером. Цель создания библиотеки — сохранить для потомков памятники польской литературы и произведения

искусства. После Второй мировой войны часть собрания библиотеки попала из Львова во Вроцлав.

Интересная новинка в книжной серии «Национальная библиотека»: в сентябре увидел свет том «Польское литературное эссе. Антология» под редакцией Яна Томковского. В книге представлена история польской эссеистики от позднего романтизма до современности, от Циприана Камиля Норвида — до Ярослава Марека Рымкевича.

К жанру эссе обращались многие выдающиеся польские литераторы в XX веке — например, Витольд Гомбрович, Збигнев Херберт, Чеслав Милош, Ежи Стемповский. Следует напомнить, что у них были выдающиеся предшественники еще в XIX веке, такие, в частности, как Александр Свентоховский, Виктор Гомулицкий, Зенон Пшесмыцкий (Мириам).

Прощания

21 сентября в Лодзи умер Гжегож Круликевич, выдающаяся фигура польского кино. Выпускник режиссерского факультета Лодзинской киношколы, он был учителем многих поколений кинематографистов. Автор сценариев и режиссер документальных и художественных фильмов, таких, например, как «Навылет», «Вечные претензии», «Случай Пекосинского», «Соседи». За свои фильмы был отмечен премией Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI на фестивале в Мангейме, «Золотыми львами» на фестивале в Гдыне, специальной премией фестиваля в Карловых Варах и другими отличиями. Вспоминая покойного режиссера, Витольд Мрозек написал в «Газете wyborчей»: «Круликевич был эксцентричным гением, полным парадоксов: воинствующим правым, националистом и приверженцем теории заговоров, а одновременно — авангардным творцом, автором исследований творчества понтифика левого авангарда Жан-Люка Годара». Гжегожу Круликевичу было 78 лет.

29 сентября в Варшаве скончался Веслав Михниковский — актер невероятной комической характеристики, исполненный остроумия мастер гротеска и черного юмора. Многие годы был актером театра «Вспулчесны», в котором отыграл 33 сезона; исполнитель знаменитых шлягеров «Кабаре пожилых джентльменов», таких, например, как «Как весела жизнь старика», «Addio, помидоры» или «Если любить»; создатель незабываемой роли Ее Превосходительства в фильме «Секс-миссия» (в советском прокате «Новые амазонки») Юлиуша Махульского. Снялся в 40 фильмах, но считал себя, прежде всего, театральным актером; сыграл едва ли не во всех польских премьерах Славомира Мрожека: «Игре», «Танго», «Счастливым

события», «Эмигрантах», «Портном», «Вдовах». «Спектакли по Мрожеку без Веслава Михниковского не были бы спектаклями такого масштаба и такой силы воздействия, какими были все премьеры его новых пьес в театре „Вспулчесны“», — заявил Ян Энглерт, выдающийся актер, художественный руководитель театра «Народовы» в Варшаве. Веслав Михниковский прожил 95 лет.

4 октября в возрасте 92 лет в Кракове умер проф. Бронислав Хромый — скульптор, медальер, живописец. Он был автором памятников и скульптур, установленных в городах по всей Польше, а также соучредителем кабаре «Подвал под баранами». Окончил Краковскую академию изящных искусств в 1956 году, занимался в мастерской Ксаверия Дуниковского. К самым известным его работам, созданным для Кракова, относятся огнедышащий Вавельский змей у подножья Вавеля, «Фонтан музыкантов» на площади Вольница, «Овечки» на сквере перед Сельскохозяйственной академией, а также памятник псу Джоку, ставший символом собачьей верности. В 2000 году в Парке Дециуса проф. Хромый выполнил памятник «Подвалу под баранами» с двумя кругами голов — артистов «Подвала» и друзей кабаре. Он был также автором, в частности, памятника польским солдатам в Катовице, «Освенцимской пьеты», памятника Бартошу Гловацкому под Раковицами, памятника польским солдатам, погибшим в битве за Великобританию, находящегося на военном кладбище в Бруквуде неподалеку от Лондона.

14 октября в Кракове умерла Анна Шалапак, певица, артистка кабаре «Подвал под баранами», с которым была связана с 1979 года. Она исполняла произведения самых известных польских поэтов и композиторов, в том числе Чеслава Милоша, Эвы Липской, Агнешки Осецкой, Зыгмунта Конечного, Яна Канты Павлюскевича. Агнешка Осецкая называла ее Белым Ангелом «Подвала под баранами». Анна Шалапак была также многолетним сотрудником Исторического музея города Кракова, кандидатом гуманитарных наук в области этнографии и культурной антропологии. Она любила краковские рождественские вертепы, организовывала их конкурсы и готовила посвященные им выставки, проходившие в Кракове и за границей. За выдающиеся заслуги в области польской культуры Анна Шалапак была отмечена Кавалерским крестом ордена Возрождения Польши. Ей было 65 лет.

Выписки из культурной периодики

Времена нынче наступили такие, что хочется повторять за Цицероном: «O tempora! O mores!». Столкновение этого оратора с Юлием Цезарем было, как ни суди, столкновением защитника республики с человеком, который этой республике установил предел, что по сути означало удушение античной демократии. Дух ее, однако, уцелел — достаточно вспомнить о влиянии, которые письма Цицерона оказали на формирование идей отцов-основателей США, а прежде всего второго президента, Джона Адамса. А еще ранее к наследию Цицерона апеллировали создатели просветительской идеологии во Франции. Так или иначе, результатом влияния этого римлянина (не только его, но и его никак здесь не пропустить) было формирование на Западе модели либеральной демократии и светского правового государства. Цезарь, как известно, был убит Брутом, и после этого Цицерон бодро приступил к реконструкции республиканского строя, за что тоже без промедления расплатился жизнью, а сторонники покойного Цезаря продолжили дело императора.

Модель светского, либерального правового государства, похоже, переживает сегодня довольно глубокий кризис. Интересно пишет об этом, говоря о популистских тенденциях в странах Запада, в том числе в Польше, поэт Адам Загаевский в пространном эссе «Идея, претворенная в действие: глубокая рана Европы», опубликованном на страницах «Газеты wyborчей» (№ 240/2017), в котором указывает на столкновение сторонников модернизации с приверженцами консерватизма, не приемлющими современность. Фрагмент, посвященный европейской литературе (прежде всего, французской, направленной против современности, отрывающей жизнь от романтической укорененности в действительности, не подчиненной исключительно идее утилитаризма, но элиминирующей из человеческой экзистенции поиск ее смысла), Загаевский заканчивает обращением к наследию автора «Ненасытимости»: «Среди польских писателей — не будем углубляться до романтизма, до «Книг польского народа и польского пилигримства» Адама Мицкевича — одно из наиболее пронзительных обвинений современности идет от Станислава Игнация Виткевича: именно он говорил об

умирании метафизических чувств и о том, насколько из-за этого обнищала наша жизнь». И далее: «Должен признаться, что многие аргументы, выдвигаемые защитниками старой Европы, меня задевают за живое. Все дело здесь в очень сложной идейной борьбе, которую не получится свести к простой формуле типа «прогресс против реакции» или «Просвещение против Средневековья». Мы видим столкновение позиций и идей, столкновение, которое нельзя игнорировать хотя бы потому, что речь идет о том, чем вдохновлялись многие поколения писателей и художников, что сформировало нашу эпоху. Меня затрагивают аргументы тех, кто оплакивает ослабление религиозного импульса, измельчание роли воображения, меня тревожит стремление видеть человека только в биологическом аспекте (тело! тело! душа — фикция). Однако ни за что на свете я не дал бы себя убедить полностью отринуть наследие Просвещения, если бы такое отвержение было в принципе возможно. Возможно, но только в дискурсе (...). Кажется, что мы, европейцы, никак не можем поладить с гармонизацией двух главных элементов нашего опыта: дня и ночи, здравого смысла, необходимого в деятельности, трезвости, полезной в научном исследовании и в нахождении политических решений, — и экстатического приятия искусства или судьбы. У нас проблемы с пониманием, как скоординировать религиозное переживание с холодным рассудком, пристрастность — с правами человека».

Что ж: у кого проблемы — у того проблемы, но ведь немало европейцев, в том числе поляков, способны к такой координации; я, во всяком случае, так полагаю, когда поглядываю на полку, на которой собрал книги выдающегося ученого, а вместе с тем священника Михала Хеллера, такие как «Философия случая», «Начало есть везде» или «Бог и наука. Два моих пути к одной цели». И пожалуй, не столь уж и трудно достижение взаимодополнения научного и религиозного подходов, что, впрочем, уходит корнями еще в глубокое средневековье, разве что это направление мысли, пожалуй, не было повсеместным и является дискретной тропой самопознания.

Однако читаем далее, поскольку замечания Загаевского имеют свое преломление в сфере политики: «В последнее время мы можем наблюдать, не без омерзения, попытки популистских группировок провести в жизнь некие полупродуманные идеи. Казалось бы, довольно безобидная процедура. Вот говорят: «Наша традиция в опасности» (в самом деле?). А что угрожает? Современность. В опасности даже наша «религиозность», наша «национальная идентичность». Что угрожает? Опять

современность. Посредством различных атеистических махинаций, через эмансипацию социальных меньшинств (приемлется — даже приветствуется и прославляется — только чисто экономическая, техническая современность). Угрожает «чужестранное» — словно бы почти все, что сейчас происходит, не было в какой-то мере «чужое». Угрожает Запад. (...) Мы уже сталкиваемся не с современным государством, гибким и не свободным от определенной доли скепсиса, эффективным, однако брезгающим вмешательством в частную жизнь, — а с государством, имеющим философские и теологические амбиции. Неожиданно возвратилось государство, которое провозглашает, что ему понятно, в чем смысл жизни, — как подросток, который с румянцем на щеках декларирует свои свежеиспеченные убеждения. А ведь государство не спец в философии. Государство не изучает Декарта, не умеет понять двойственность философии Канта. Было бы чем-то смешным и трагическим воображаемое государство, проходящее то, что в Германии называют «die Kant Krise», кантовский кризис, то есть полное сомнение в какой бы то ни было стабильности мира. (...) Государства не думают и не плачут. Государства организуют и проявляют толерантность. Государствам угрожает бешенство максимализма, а лечит их мудрый минимализм. Выдающийся канадский философ Чарльз Тейлор в знаменитой работе «Истоки субъектности» привел наблюдение: в общественной жизни, там, где мы имеем дело с правилами и силами социальной организации или административными силами, мы в целом руководствуемся предпосылками, проистекающими из Просвещения, а вот в нашей приватности, в частные моменты нашей жизни, в наших внутренних монологах, в снах и мечтах, в творчестве, в сумерках, когда размываются четкие контуры зданий, нас более вдохновляют романтические примеры. Этот порядок невозможно переменить. Мы живем в постоянной амбивалентности, в напряжении между двумя действительностями — и это не просто. А почему должно быть просто?»

Потому, что люди хотят, чтобы в жизни было просто. Политики, в общем-то, тоже. В том числе и те, кто берет на себя роль защитников той самой, находящейся, по их мнению, в опасности идентичности. К таковым, безусловно, относится вице-председатель Комиссии Епископата, прелат Ченстоховской архиепископской епархии ксендз Януш Скибусь, обширное интервью с которым, озаглавленное «Христиане, на поверку!», опубликовано в еженедельнике «Сети правды» (ранее «В сети», № 42/2017). Обращает на себя внимание подзаголовок: «И обратимся к Десяти Заповедям, обратимся

к нормальности». Начала нынешнего — уже, впрочем, не первого — кризиса европейской идентичности ксендз Скибусь усматривает во временах молодежного бунта 1968 года: «Пришел год 1968-й, вместе со своей моральной революцией и отвержением христианства, Десяти Заповедей. Пришли идеологии, основывающиеся на неолиберальных, а также неомарксистских трендах. Так начал создаваться новый Европейский союз, который сегодня, с формально-правовой точки зрения, сильно развился. Этот союз с самого начала искоса поглядывал на то, что связано с заветами христианства. А сегодня можно часто наблюдать даже аллергию на религию среди тех, кто принимает решения в Евросоюзе. Они со всех ног бегут от Бога, христианства и Десяти Заповедей. Взамен царит светская идеология, которая часто проявляется в виде идеологии гендера, враждебной христианскому верованию. (...) Именно поэтому мы пробуем вместе с движением «Еуропа Christi» напомнить, что Старый Свет и Европейский союз укоренены в христианской традиции, которой более двух тысяч лет. Она питается греческой мыслью и римским правом, на которые наложилось Евангелие, учение Иисуса Христа. Христианство сплачивает общества государств и строит структуры Европы. А также с христианством возрастают великие культурные достижения Европы, начиная с университетов, включая больничную систему, архитектуру, живопись, скульптуру, музыку и литературу. (...) Невозможно сегодня представить мировую историю без обращения к Десяти Заповедям, христианской морали и опоры на естественное право».

Говоря о кризисе Евросоюза (по сути дела, его история — это цепь последовательных кризисов, преодолеваемых благодаря диалогу и компромиссам), ксендз Скибусь подчеркивает: «Сегодня во весь голос заявляют о необходимости реформы Европейского союза, Увы, всё движется преимущественно в сторону политических и экономических реформ. Часто забывают об основе такой реформы. Ее фундаментом должно стать христианство, вера. Церковь и религия. То есть все то, что является фундаментом европейской культуры. Мы должны четко обозначить базовые критерии наших рассуждений о реформе Европы. Это такие критерии, как законы морали, Десять Заповедей, но также и семья, которая сегодня в такой опасности. Христианство защищает жизнь, а сегодня в Европе царят аборт, культура смерти. (...) Мы помним, что лагеря смерти и Гулаг — все это свидетельства отхода от христианства, это изобретения атеистических систем». И наконец: «Европа должна изменить свое исповедание. Политкорректность довела нас сегодня до того, что мы бежим

от нашей идентичности. Это видно в гостиницах, в которых исчезли распятия, что когда-то невозможно было себе представить. Или на каретах скорой помощи, где крест заменен эмблемой Эскулапа».

Польское общество — или, во всяком случае, многие его члены обоих полов — продемонстрировало в последнее время свою укорененность в христианстве акцией «Розарий до границ», встав на границах страны и вознося молитвы о безопасности родины. Как пишет во вступительной статье в еженедельнике «До жечи» (№ 42/2017) Павел Лисицкий, «Польша по-прежнему католическая страна. То есть страна, где население уважает традиции и прошлое и готово это продемонстрировать. Этот один розарий собрал в несколько десятков раз больше людей, чем самая большая оппозиционная манифестация в защиту якобы находящейся в опасности демократии». Это правда. Разве что демократия не «якобы» находится в опасности: демократия в опасности постоянно. В отличие от веры, демократия не дается, а задается. Требуется постоянных реформ: она никогда не является завершенным и готовым проектом, а традицию имеет, чему доказательством столкновение Цицерона с Цезарем, также давнюю — или даже более давнюю, чем христианство, реформы которого заканчивались неизменно очередными расколами. В конце концов, не случайно же адепты православия считают католиков еретиками: здесь тоже ситуация не из простых, но никто никогда не говорил, что должна быть простой.

Соседи

Женское лицо войны в фильмах Войцеха Смажовского

Всякий раз, когда Войцех Смажовский затрагивает тему войны, — а к данному моменту это случилось уже дважды: в фильмах «Роза» (2011) и «Волынь» (2016) — главной героиней своей киноленты он делает женщину. В первом случае это жительница Мазурии^[1] по имени Роза Квятковская (ее играет Агата Кулеша), вдова погибшего солдата вермахта, в чью небольшую усадьбу попадает после поражения Варшавского восстания 1944 г.^[2] Тадеуш (Марцин Дороцинский). Действие фильма начинается осенью 1944 г., когда еле живой от ран Тадеуш оказывается свидетелем изнасилования, а потом, после «полного употребления тела военного трофея»^[3], еще и убийства своей жены, но, как пишет Агнешка Морстин, «подлинное время действия этого кинофильма приходится, в свою очередь, на 1946 год, когда имела место главная волна высылки и изгнаний и когда Роза вместе с дочерью получили от польских властей после проверки негативные оценки, оказавшись отнесенными к той категории жителей, которая подлежала выдворению. Их новой родиной должна была стать Германия — страна, для мазурских крестьян чужая и далекая»^[4].

В свою очередь, главной героиней картины «Волынь», действие которой относится к 1939–1943 гг. (стало быть, на долю этой молодой девушки выпадают испытания и разразившейся Второй мировой войны, и советской оккупации, и — оказавшиеся наиболее непосредственными и болезненными — ужас волынской резни^[5]) является семнадцатилетняя Зося Гловацкая (Михалина Лабач), влюбленная — с взаимностью — в украинского хлопца по имени Петро (Василь Василик), но выданная замуж за намного старшего вдовца, зажиточного поляка Мацея Скибу (Аркадиуш Якубик). Своим решением, «рассказывать о войне (или об истории вообще) от женского лица», режиссер великолепно вписался в одно из течений новейшего, т.е. создаваемого после 1989 года польского кино. Лентам, в которых о польском прошлом рассказывается через истории женщин, в 2008 г. проторил путь Вальдемар Кшистик,

награжденный в том же году на кинофестивале в Гдыне призом «Золотые львы» за фильм «Малая Москва» — разыгрывающееся незадолго перед вторжением войск Варшавского пакта в Чехословакию киноповествование о любовной связи польского офицера и жены советского пилота, который дислоцируется в Легнице^[6]. «Малую Москву» премировали еще и за лучшую женскую роль первого плана, а также удостоили почетной премии президента Польского телевидения; профессионалы тоже высоко оценили эту мелодраму — коллегия польских кинопремий отметила ее пятью «Орлами». (Я акцентирую в этом месте количество наград, выпавших на долю фильма Кшистека, во-первых, потому, что столь же высоко станут оцениваться и очередные кинопроекты, где «рассказ об истории ведется от лица женщины», а во-вторых, потому что в награждении или не награждении призом можно видеть свидетельство восприятия тех или иных фильмов профессионалами либо — если речь идет о зрительских премиях — зрителями). В 2011 г. гдыньское жюри обошло своим вниманием фильм «Роза» и отметило только актерскую работу Марцина Дороцинского, но эту картину Смажовского заметили журналисты, а потом и зрители Варшавского кинофестиваля. Кроме того, данная лента получила семь премий в разных специализированных отраслевых номинациях.

«Волынь» — это фильм, провоцирующий дискуссию о «мифе народного бунта» — как определяет волынскую резню историк Гжегож Мотыка, разумеется, полемизирующий с такой точкой зрения^[7], — или же о так называемом «учредительном убийстве»^[8]. А ведь и мы, поляки, и украинцы^[9] очень нуждаемся в таком разговоре.

В поведении Вальдемара Кшистека трудно не заметить проработанный с большим вниманием и хорошо усвоенный урок кино режиссера Войцеха Хаса, который рассказывал о войне и оккупации, предлагая зрительской аудитории манеру и приемы популярного кинематографа: ведь его картины «Прощания» и «Как быть любимой» — это мелодрамы. А фильм «Шифры» можно признать чуть ли не триллером.

Через год после «Малой Москвы» главный приз гдыньского кинофестиваля отправился к создателям ленты «Реверс» (2009, реж. Борис Ланкош), действие которой происходит непосредственно перед смертью Сталина, — киноповести о сознательном выборе материнства, которое стало следствием страстной влюбленности впечатлительной, интеллигентной и очень одинокой «старой девы» (Агата Бузек) — старой по

тогдашним стандартам — в красивого и ведущего себя по-рыцарски молодого человека. Первая встреча этой пары происходит на варшавской улице, где Бронек (Марцин Дороцинский) спасает Сабину от хулиганов. Однако на самом деле этот Бронек является функционером Управления безопасности (УБ), который, естественно, камуфлирует свое занятие, а девушкой заинтересовался исключительно с целью иметь возможность систематически шпионить за ее начальником. Причем со стороны Сабины это был выбор реально одинокого материнства, потому что она убила своего фальшивого жениха. Но совершить запланированное самоубийство не успела — ей помешала мать, которая помогла «утилизировать» труп; а родить ребенка молодую женщину убедила, в свою очередь, ее бабушка.

В следующем 2010 г. «Золотых львов» получила картина Яна Кидавы-Блонского «Розочка», и данная премия положила начало триумфальному шествию по различным фестивалям этого киноповествования о любовных отношениях симпатичной, но простенькой машинистки из деканата некоего варшавского факультета польской филологии (Магда Бочарская) с писателем-оппозиционером (Анджей Северин) — отношениях, затеянных женихом девушки, гебистом Рожеком (Роберт Венцкевич), собиравшем информацию об этом диссиденте. Роман перерастает в нечто большее, а всё это — на фоне событий марта 1968 года^[10].

Я составила этот довольно длинный перечень кинофильмов о женщинах и истории, во-первых, для того, чтобы упорядочить дальнейшие умозаключения и одновременно доказать, что через 20 лет после перелома 1989 года польские кинематографисты начали рассказывать о польском прошлом двумя способами, которые ранее были в нашем кино скорее редкостью:^[11] пользуясь формулой популярного кино и делая именно женщин главными персонажами своих повествований. Да, конечно, и раньше героинями военных киноисторий бывали женщины — вспомним хотя бы «Последний этап» Ванды Якубовской (1947), «Пассажирку» Анджея Мунка (1963), «Любовь в Германии» Анджея Вайды (1983), «Год спокойного солнца» Кшиштофа Занусси (1984) или «Всё, что самое важное» Роберта Глиньского (1992)^[12], однако фильмы, где «рассказ об истории ведется от лица женщины» не появлялись тогда год за годом, с такой интенсивностью, как это стало происходить на исходе первого десятка лет третьего тысячелетия.

Во-вторых, я перечислила эти «женские» картины, чтобы на их фоне проанализировать фильмы Смажовского и показать, быть может, отличительные особенности и оригинальность.

Факт, что польские режиссеры решились, рассказ об истории вести от лица женщины, служит, несомненно, доказательством того, что для современных польских кинематографистов тоже остается важным и актуальным необычайно глубоко укорененное в нашей культуре убеждение, что «Польша — это женщина»^[13]. «В течение последних двухсот лет господства романтизма было принято представлять Польшу — женщину в качестве аллегии, символа, мифа», — пишет маститый польский историк литературы и культуры Мария Янион^[14]. Сходным образом истолковывает данное явление поэт, прозаик и эссеист Ян Прокоп: «Женщина, показываемая нашей литературой в XIX веке, — это прежде всего полька. В качестве Матери, Жены, Девы она выполняет самые разнообразные обязанности, но всё, что ею делается, служит одному — Отчизне. Эта возвышенная задача достаточно детально определяет то особое место, которое занимает Женщина-полька в общественном пространстве. Ибо имеет смысл не забывать, что мещанская Европа XIX века хочет привязать женщину из средних слоев общества к сфере приватности (...). Совершенно иначе представляется ситуация в Польше. Публичное пространство (за исключением территории католической Церкви) почти полностью подмято под себя захватчиком. Следовательно, обязанности по сохранению национальной идентичности не могут быть выполнены на этом поле. (...) И в результате женщина — довольно-таки неожиданно, если судить по нормам Европы XIX века, — оказывается в самом центре публичной проблематики и национальной деятельности, выдвигаясь (особенно после ноябрьского восстания) на роль едва ли не самого важного защитника духовных границ Речи Посполитой»^[15]. Однако я замечая в поведении тех режиссеров, на которых ссылаюсь выше, попытку, в частности (и даже более всего) задать вопрос о том, кто мы такие? От кого мы ведем свой род и чьими являемся?^[16] Обратим внимание на то обстоятельство, что все эти касающиеся прошлого фильмы о Матерях^[17] (ведь в каждом из них мы имеем дело с рождением ребенка) идеально дополняют нарратив, предложенный фильмами об Отцах^[18], которые появились почти в то же самое время. Стоит особо подчеркнуть, что трудное материнство киногероинь одобряется и принимается в большей степени, нежели материнство ожидаемое и запланированное. Одобряется, так как все эти женщины-

матери — из того поколения, которому обязательно довелось хоть немного испытать на себе войну, и поэтому они ценят каждую жизнь. «Ребенок — это всегда ребенок», — напоминает Сабине ее бабушка в гениальном исполнении Анны Полоны. Приятие и одобрение материнства — это отчетливый сигнал, что пора кончать с убиванием и с насилием, узаконенным во имя мести, во имя расплаты (или даже во имя так называемой справедливой войны). В тех кинофильмах, где ведется диалог с повествованиями об истории и Матерях, например, в таких лентах, как «Эрратум» Марека Лехки (2010), «Крот» Рафаэля Левандовского (2011), «Страх высоты» Бартека Конопки (2011), «Моя плоть, моя кровь» (2009) и «Крещение» (2010) Марцина Вроны, действие происходит в наше время. Фильмы о Матерях касаются того, что было. А вопрос, который они провоцируют, — это ведь конститутивный вопрос, поскольку он о нашей идентичности. Ответ отнюдь не придает силы и бодрости, ибо оказывается, что мы — ничьи. И это действительно так, поскольку гораздо чаще, чем от любви («Малая Москва»), мы рождаемся от насилия («Реверс», «Роза», скорее всего, и «Розочка» тоже) либо оказываемся результатом исполнения супружеского долга («Венеция»^[19]). Существует ли какое-нибудь целебное средство, противодействующее осознанию такого своего происхождения? Нет. Подобную информацию можно или принять к сведению — точно так же, как и прошлое, с которым уже ничего нельзя поделать, — или же бессмысленно восстанавливать ее в памяти и возвращаться к ней. Ибо ведь того, что было, уже не изменить. Лекарством, предлагаемым зрителям в этой дискуссии о «происхождении и необходимости примириться», могут служить как раз фильмы об Отцах, герои которых, дабы иметь возможность заняться своим настоящим, обязательно должны были принять прошлое — и свое, и своих отцов. Принять, но уже не повторять их ошибок.

Когда героиней фильма, который затрагивает исторические события, выступает женщина, киноповествование может только выиграть, поскольку рассказ ведется не о том, что происходит на поле битвы или на баррикаде (где оказались бы лишь немногие из нас), но в доме, в частном пространстве (а таковое имеется у каждого), где, как это ни парадоксально, вести войну гораздо труднее, нежели в условиях открытой борьбы, о чем вспоминается в картине Хаса «Шифры» — этой киноповести, рассказывающей, в частности, о том, что любой, кто пережил Вторую мировую войну на Западе, никогда не поймет наших конспираторов и нашего подполья, организованного где-то между комнатой и общей кухней.

Когда «рассказ об истории ведется от лица женщины», то поневоле речь идет о будничной повседневности, а не о борьбе и сражениях: «родина благодаря насыщению женскими достоинствами становится чем-то таким, что переживается глубоко интимно и лично»^[20]. В подобных фильмах нет места для патетического (и чаще всего бесцельного) героизма, просто там требуется только одно: сохранить себя и выжить так же, как выживала Луция Король из кинофильма «Мать Королей» (1982, премирован в 1987 г.) режиссера Януша Заорского, вторая — после Фелиции из картины «Как быть любимой» — покровительница, опекуна и уж наверняка старшая сестра упомянутых выше героинь. Тоже мать-одиночка.

Интересным и ценным показался мне уже тогда — иными словами, в момент, когда вышеупомянутые фильмы попадали на экраны, — а также продолжает казаться до сих пор этот поворот польских режиссеров к вещам, которые носят сугубо частный, повседневный и телесный характер, — ведь у всех упомянутых ранее героинь есть эротическая жизнь^[21], а стало быть, они любят не только своих детей. Их заботят самые что ни есть обыкновеннейшие, будничные дела. А в первую очередь они, невзирая на обстоятельства, продолжают жить и выживать. Вышеназванный режиссерский поворот, во-первых, показал, что гораздо важнее национального и всеобщего стали те явления и понятия, которые являются частными, приватными, и в этом можно усматривать причину того факта, что в польском кино перестало, наконец, господствовать принуждение к героизму. Во-вторых, когда «рассказ об истории ведется от лица женщины», герои такого киноповествования становятся для нас ближе эпических богатырей с пьедесталов, которыми легко восхищаться, но трудно отождествлять себя с ними.

Интересным контекстом для моих рассуждений может послужить вывод, которым завершила свое эссе «Двойная отчужденность: образы еврейских женщин в польском послевоенном кино» видная исследовательница и знаток, в частности, культурных репрезентаций мифа Матери-польки, Эльжбета Островская, отмечающая, что «(...) локализация сексуальности в Чужой женщине предоставляет возможность (...) сохранить освященный традицией миф польской женственности, воплощенный в мифе Матери-польки» (Elżbieta Ostrowska, *Obcość podwojona: obrazy kobiet żydowskich w polskim kinie powojennym*, w: *Gender – Film – Media*, dz. cyt., s. 144). Матери из упомянутых фильмов (хотя в двух случаях и не являющиеся поляками) — это существа, реализующие свою сексуальность, что не мешает им быть хорошими, чуткими,

ласковыми матерями. И именно в такой трактовке фигуры Матери-польки, т.е. в том, что она вновь обретает свое тело, я усматриваю новаторство и оригинальность авторов обсуждаемых кинофильмов.

Фильмы Войцеха Смажовского выделяются среди упомянутых выше тем, что этот режиссер поместил своих героинь в кинорассказы о Второй мировой войне, тогда как Сабина из «Реверса» живет в 1950-х годах и в наше время, а Камила (т.е. *секретный сотрудник*^[22] Розочка) и Вера из «Малой Москвы» — во второй половине 1960-х годов. Правда, действие «Венеции» происходит незадолго до и во время Второй мировой войны, однако женским персонажам Кольского не дано столь же brutальное столкновение с военной реальностью, как то, которое становится уделом героинь Смажовского, — по крайней мере, мы этого не видим, а только ориентируемся, что ни одна из этих женщин не выжила. В фильме Кольского женщины, хоть большие, хоть маленькие, символизировали красоту и витальность, очарование жизни. Коль скоро ни одну из них не пощадили, даже девочку, которая сумела вынести принудительное выселение, а погибла от рикошета (?), заслушавшись фортепианным концертом в исполнении советского офицера, который хозяйничает в имении ее тетки, то режиссерская интерпретация мира выглядит безмерно выразительной и пессимистичной. В мышлении Кольского присутствует какой-то оставшийся в мозгу отпечаток известного по книге Жеромского «Канун весны» зрелища перевозимого на арбе трупа красивой армянки, которое вызывает такое потрясение у главного героя этого романа Цезария Барыки. Убили тайну, радость и красоту жизни. Уже ничто не будет таким же самым. Красота перестанет быть возможной. Героини Кольского — это интеллигентки, землевладелицы, которые в имении сестры (Гражина Бленцкая-Кольская) создали для себя анклав рафинированной изощренности, убежище для красоты, — но всё это оказалось иллюзорным и временным, что они вполне осознавали с самого начала. Образованная, работавшая перед войной в библиотеке Роза и простая Зося тоже не спаслись, хотя в случае второй из них у меня нет уверенности ни в чем, поскольку не в состоянии однозначно интерпретировать окончание фильма Смажовского^[23]. Один раз мне кажется, будто девушка и ее ребенок уже находятся по ту сторону, потому что мало кто, будучи столь истощенным усилиями спрятаться во время резни, смог бы пережить подобное странствие. Но мгновение спустя, наученная опытом, что в последнем эпизоде — который в фильмах Смажовского всегда реализуется общим планом, снятым направленной вниз камерой, как если бы Кто-

то наблюдал это сверху, — надлежит видеть режиссерскую тоску по Кому-то, кто ко всему присматривается и всё взвешивает, и тогда у меня возникает надежда, что молодая женщина и ее дитя, однако же, выжили^[24]. В «Венеции» героини Кольского могли изолироваться, попробовать переждать беду в замечательно обустроенном подвале фольварка с названием «Венеция», тогда как у героинь Смажовского выбор отсутствовал, они были обязаны действовать, чтобы выживать и беречь своих близких.

На первый взгляд кинематограф Войцеха Смажовского — это фильмы о мужчинах. Ведь в «Свадьбе» нам немедля бросается в глаза Войнар (Мариан Дзендзель), мечущийся между свадебным залом и теплицей со спрятанными сбережениями, в «Плохом доме» мы болеем за проводящего частное следствие поручика Мруза (Бартломей Топа) и за безосновательно обвиняемого в двойном убийстве неудачника Шродоня (Аркадиуш Якубик), да и в ленте «Дорожный патруль» главными персонажами выступают сотрудники дорожной полиции, а в картине «Песни пьющих» — пациенты, которые лечатся от алкогольной зависимости. Однако после более обстоятельного рассмотрения выясняется, что во всех этих картинах ничуть не менее героев важны героини. Это беременная Кася (Тамара Арцюх) из «Свадьбы», поставленная перед альтернативой: или аборт, или брак, — потому что Войнар содержать внебрачного ребенка дочери не намерен. А ее мать Элюська (Ивона Бельская), на протяжении многих лет поддерживающая мужа во всех мошеннических проделках, видит единственный козырь своего мужчины в том, что Войнар умеет обеспечить семье какое-то существование. В финале «Плохого дома» любовница (Катажина Цинке) убитого своими подчиненными Мруза рождает ребенка, отцом которого вполне может быть и ее муж, а в той же картине *spiritus movens* (движущим духом — лат.) убийства в семействе Дзябасов могла быть Дзябасиха (Кинга Прейс), подстрекающая своего мужа зацапать деньги Шродоня, который на свою беду неудачливо и случайно заблудился, попав в их усадьбу.

В картине «Песни пьющих» алкоголизмом больны и женщины, которые вдобавок страдают еще и из-за насилия, которое исходит от мужчин, или же оттого, что хотят вытащить своих партнеров из беды, отучить их от дурной привычки выпивать, чего пробует добиться невеста (Юлия Киёвская) главного героя. В «Дорожном патруле» женщины изменяют своим партнерам налево и направо — жена (Изабела Куна) сержанта Круля (Бартломей Топа) наставляет ему рога с приятелем по работе (Марцин Дороцинский), но и сам Круль тоже не без вины,

поскольку крутит роман с коллегой по патрулю (Юлия Киёвская). Как мы видим, мир Смажовского — это вовсе не мир мужчин без женщин, а мужским он кажется, возможно, по той причине, что режиссер демонстрирует нам действительность, полную насилия, и ни в чем не щадит своих зрителей: коль мы уж видим приступ алкогольной белой горячки, то со всеми деталями и последствиями, а акт супружеской измены в «Плохом доме» тоже показан со всеми натуральными подробностями — между Дзябасихой и Шродоном нет никакой настоящей близости, мужчина всего лишь разряжает напряжение, а она в первую очередь хочет усыпить бдительность партнера, которому через пару мгновений предстоит быть убитым. Кино Смажовского — это не кино тонкостей и нюансов, догадок или умолчаний. В таком пространстве трудно найти себя кому-то мягкому^[25], а ведь именно мягкость, по мнению режиссера, отличает нас, женщин, от мужчин, и как раз это свойство он ценит в нас превыше всего^[26].

Если мы еще тщательнее приглядимся к фильмам Смажовского, то заметим, что особая роль отводится в них именно матерям. Это видно уже в дебютантской «Свадьбе», где появляются вставки, вдохновленные полотном Станислава Выспанского «Материнство»: в картине все гости уже вдрызг пьяны, через несколько мгновений они проревут «Роту»^[27], но мы получаем некий момент спокойствия и умиротворенности — перед нами вдруг изображение темноволосой женщины, кормящей ребенка грудью, к чему присматриваются девочки с характерными бантами в волосах. Героиня полнометражного дебюта режиссера, Кася — будущая мать. Девушка не согласилась на прерывание беременности, но, поскольку одинокого материнства она не могла себе позволить — отец ребенка изменил ей, — то ей пришлось вернуться в родную деревню и согласиться на договорной брак с пареньком по имени Януш (Бартломей Топа), к которому она раньше была безразлична; а тот женился на ней за роскошное ауди. В «Дорожном патруле» к разоблачению правды о связях между политиками, бизнесменами и преступниками приводят действия проститутки, записывающей на видео оргию, во время которой ее участники принимают какие-то решения по своим бизнесам. Для девушки это способ зарабатывать деньги, потому что иначе она не смогла бы содержать своего ребенка, тогда как для нее только и свету в окошке, что это маленькое существо, — больше ее ничего не волнует. Эпизод, когда эта вечерняя бабочка приносит сделанную запись во вьетнамский бар, — пожалуй, единственный во всем фильме, дающий

зрителю минутку спокойствия и передышки в этом визуально распаленном аду. Девушку сопровождает маленький ребенок, действие замедляется, и тогда происходит нечто, имевшее место и в «Свадьбе», когда перед нами предстала киноверсия «Материнства» Выспяньского.

Самая серьезная проблема возникает у меня с интерпретацией фигуры матери-милиционерши в «Плохом доме» (впрочем, и с финальным эпизодом «Волыни»), когда та перед самыми родами без малейших колебаний пьет водку наравне с сослуживцами, принимающими участие в осмотре места происшествия, и старается предостеречь своего любовника от последствий, которые грозят ему, если всплывет правда о жульнических махинациях в госхозе, однако, скорее всего, и она тоже раньше доносила на него. Ребенок — это новая жизнь, надежда, новая открытость, начало чего-то. Но каким образом интерпретировать образ ребенка, рожденного то ли от... мужа (?)... то ли от любовника (?), к тому же на пепелище дома, где, быть может, убили его отца, а перед этим совершили преступление сыноубийства и женоубийства? Трудно обойти при истолковании чьих-либо судеб подобный стигмат. Но в голову мне снова приходит композиция того заключительного — и наиболее брейгелевского из всего снимавшегося Смажовским — эпизода, который дает нам понять о существовании Кого-то, кто присматривается ко всему этому, и есть надежда, что Тот всё видит и оценивает. В этот момент мне припоминается режиссерская потребность в справедливости и вера в нее. А в акте рождения мне все-таки видится надежда для мира и тех героев, которые уцелели. И для зрителей тоже. Потому что Смажовский своими полными насилия фильмами, вопреки нарочито и демонстративно обнажаемой им убежденности в том, что человек — это не только эмоции и интеллект, но более всего физиология, дает нам надежду, поскольку своими героинями он делает Матерей.

В режиссерском решении делать героинями фильмов Матерей я замечая (вдохновляясь наблюдением Марии Янион по поводу небольшой повести Войцеха Кучока «Дрянё», что «критика Отца — это отвержение насилия, санкционированного религией, традицией и обычаем, другими словами, отвержение одной из опор общества, столь любимой, почитаемой и обласканной в польской патриархальной культуре»^[28]) доказательство выказываемого Смажовским сопротивления по отношению к насилию, и это подтверждается очень отчетливо представленной в кинофильме «Волынь» авторской позицией, что месть ничего не решает^[29]. Мы ведь видим, что старшую из дочерей Скибы спасает неизвестный и анонимный мужчина —

украинец крупного телосложения, который велит девочке переждать резню в высокой траве, а потом возвращается за ней, и когда зритель ожидает самого худшего... — спасает ребенка. В свою очередь, украинский муж Зосиной сестры Хели (Мария Собоцинская) в стремлении уберечь жену и прячущуюся в их маленькой усадьбе свояченицу идет на акт братоубийства, однако почти сразу после этого погибает вместе со своей половиной, которой ставят в вину ее союз с украинцем, причем гибнут они от рук ищущих мести поляков (!), — тех, что четырьмя годами ранее веселились, гуляя на их свадьбе. Отсылка к суждению Марии Янион кажется мне тем более обоснованной в эссе, где среди прочих фильмов рассматривается и «Волынь», потому что эта заслуженная исследовательница, размышляя о книге Кучока, цитирует рецензию Пшемислава Чаплинского под названием «Во имя отца», который, обсуждая «Дрянё», перечисляет многочисленные образцы польской «противоотцовской прозы», а среди них — «Золотую трубу» Богдана Лёбля, «который "подсовывает нам объяснение польско-украинской ненависти как следствия отцовских позиций, основанных на насилии, презрении и снисходительно-покровительственного отношения"»^[30].

Исключительность героинь таких фильмов, как «Роза» и «Волынь» видится мне в том факте, что ведь и Роза, и Зося помещены в киноповествования о прошлом, а нам представили их как женщин насквозь современных, которые выбирают для себя конфронтацию с действительностью и сами решают (по меркам тех времен, в каких живут), с кем они хотят быть, — и Роза выбирает Тадеуша, а Зося — бойца Армии Крайовой (Адриан Заремба). При этом они обе полны витальных сил — несмотря на то, что Роза смертельно больна, а Зося живет накануне чудовищных событий лета 1943 года — причем обе женщины отнюдь не прозябают, не выживают со дня на день, а живут. Временами может складываться впечатление, что каждый свой день они торжественно празднуют, едва ли не священнодействуя, — это прекрасно видно в эпизоде, когда Роза «всего только» сидит с Тадеушем перед краснокирпичным домом, или же в ходе их экскурсии на лодке, или совместной ночи, когда не столь уж важно, дошло ли до чего-нибудь между ними как мужчиной и женщиной, — куда важнее, что они оба нуждались во взаимной близости. У Зоси из-за обязанностей по хозяйству меньше свободного времени, но и она позволяет себе минутку невинной нежности с парнем из АК. Женщины из фильмов Смажовского наверняка не исполняют декоративно-орнаментальную функцию в повествованиях о взаимно и без конца мстящих один другому

мужчинах, к чему мы приучены хотя бы Сенкевичем. Такой способ конструирования основных героинь можно интерпретировать как режиссерский ответ на сформулированную Марией Янион потребность в «символической трансформации»: «С нашей точки зрения необходимо прежде всего помнить, что траур польской эмиграции и по польской эмиграции выцвел, поблёкнул. Это, разумеется, не означает, что надлежало бы вычеркнуть или отбросить память о национальных страданиях, они нуждаются, однако, в новом нарративе, новом повествовании, не тиражирующем романтически-национальные схемы и стереотипы»^[31]. От Матери (польки^[32]) требовалось непременно быть чистой, идеальной и, что парадоксально, лишенной телесности. У героинь Смажовского тела есть, и, насколько они могут себе такое позволить, эти женщины располагают ими, как хотят, хотя зачастую становятся жертвами мужской агрессии и доминирования, особенно Роза. Я задумываюсь над тем, насколько обоснована интерпретация, что Смажовский, делая героинями своих кинофильмов о войне именно женщин (с кровью, плотью и эмоциями), полемизирует в том числе и с архаическим пониманием патриотизма, которое с опасной частотой перерождается в национализм или хотя бы только приближается к нему. Такая режиссерская полемика идеально корреспондировала бы с — напомним — столь отчетливо представленным в «Волыни» тезисом, что месть — это никакое не решение. Как пишет Мария Янион, «польская национальная культура представляет собой культуру сугубо мужскую. В ее образе на первый план выдвигаются гомосоциальные союзы и связи, узы мужского братства и дружбы. (...) Современное понятие народа и возникающий вместе с ним национализм сочетались со стереотипом мужественности, содержащим в себе надлежащим образом поданные черты мужской идентичности. Мифология мужского сообщества, беспощадной борьбы и военного фурора всегда играла здесь особую роль. (...) Авторы антологии «Nationalism and Sexualities (Национализм и проявления сексуальности)» утверждают, что в культурах с гомосоциальной доминантой проявляется определенная закономерность, а именно, особое отношение к женщине как Матери. Происходит ее тотальное освящение. Мать являет собой "фигуру идеальной женственности, ту фантазматическую женственность, которая обеспечивает и предохраняет мужско-мужские союзы и мужскую историю"»^[33].

И Роза, и Зося — матери. У Розы уже есть дочь подросткового возраста, а когда мы знакомимся с нею, она снова беременна —

в результате очередных изнасилований, на сей раз советскими мародерами, скрывающимися в окрестных лесах. Тадеуш узнаёт о ее существовании, когда женщина нуждается в помощи для выполнения гигиенических процедур, — у нее случился выкидыш, и оказалось, что она страдает раком половых органов. Роза спрятала девушку, переодетую в мальчика, чтобы спасти ту от собственной судьбы^[34]. У Зоси есть сынишка, зачатый во время первого сближения с влюбленным в нее украинцем, еще перед браком с Сохой — отец попросту «продал» девушку вдовцу, которому требовалась хозяйка и мать для его детей, а Петро не успел сделать ей предложение. И, если отношения Зоси и Петро были искренними и настоящими — парень спас объект своей юношеской любви ценою собственной жизни^[35], — то ее официальный брак можно определить понятием «сделка». А когда в жизни Зоси появляется парень из АК, в их распоряжении слишком мало времени, чтобы между ними что-либо произошло, — подобно тому, как Тадеуш и Роза позволяют себе всего лишь захотеть близости другого человека. Для них возможна только такая малость. Но в их мирах и это уже очень много.

Войцех Смажовский вводит в публичный дискурс темы, остававшиеся до этого момента нетронутыми^[36]. «Воле» — первый польский художественный фильм, посвященный тому, что произошло летом 1943 г. на Воле. «Роза» — первый польский кинофильм, где затронут вопрос об изгнаниях, выселениях, выдворениях — иначе говоря, об отношениях польских властей к мазурам, которые, как правильно пишет Агнешка Морстин, «разрывались между Польшей и Германией, будучи незащищенными перед лицом двух схлестнувшихся между собой тоталитаризмов и вместе с прекращением военных действий оказались почти полностью лишены поддержки»^[37]. С темы переселенцев^[38] сняли налет бронзы, а их самих развенчали и низвели с пьедестала, показывая не только как жертв, но и как виновников зла, — ведь жители так называемых «кресов», польского восточного пограничья, которых Роза приняла и потчевала в своем доме и которым она на пару с Тадеушем помогала потом, как могли, ответили тем, что после ее гибели, а также последующего ареста и выдворения ее мужчины забрали себе скромную усадьбу Розы Квятковской, а из ее дочери сделали прислугу^[39].

Войцех Смажовский выбирает героинями своих «военных» фильмов женщин, потому что такой прием позволяет ему с наибольшей выразительностью показать кошмарность войны

— нарушение повседневного порядка будней, уничтожение их ритуалов, «перепахивание» того, что является самым интимным. Кроме того, трудно сражаться, держа на руках ребенка. И трудно быть готовой к смерти героиней, когда дома ждут дети^[40]. Наконец, есть еще и иное соображение: одним из военных преступлений, которые угрожают в первую очередь женщинам, являются военные изнасилования, иными словами, тотальная объективация человека и перевод жертвы в категорию собственности, причем в некоторых культурах женщину вдобавок вырывают из семьи и общества, приговаривая к экономическому и культурному изгнанию, — так происходило, скажем, в случае мусульманок, которых насиловали во время войны на территории бывшей Югославии, и так делается сейчас (!) в Сирии, где жертвами ИГИЛ становятся христианки и езидки. Ведь в военном изнасиловании главным является не столько разрядка сексуального напряжения, сколько захват в собственность тех, кто принадлежат (!) к числу врагов, с которыми ведется борьба, их символическое ограбление, а также нарушение / осквернение цементирующей общество базовой парадигмы чистоты.

Собственно говоря, особую ценность и важность «Розы» я вижу в том, что Смажовский^[41] стал в польском кино вторым^[42] режиссером после Хаса^[43] (премьера его ленты «Как быть любимой» состоялась в 1962 г., а «Розы» — в 2012), который занялся проблемой военных изнасилований, — а они ведь имели место и на территории Польши тоже. Агнешка Морстин пишет о героинях Хаса и Смажовского, что (...) «Фелиция была женщиной, которой на какое-то время досталась роль жертвы, тогда как Роза — это жертва, которой в фильме иногда достается роль женщины. Однако в первую очередь она все-таки жертва, и именно этим определяется ее идентичность. (...) Зато насколько же более глубоким был бы фильм Смажовского, если бы нам предоставили больший доступ к переживаниям его главной героини»^[44]. Я прочитываю героиню Смажовского несколько иначе по причине того уже упоминавшегося выше факта, что Роза разрешила себе минуту близости с Тадеушем. Разумеется, Роза — это жертва, но в первую очередь она женщина, которая живет, невзирая на всё, что ей довелось испытать. Она продолжает держаться. Не сдается, хотя и нельзя сказать, что побеждает. В ней есть то же самое, что в Тадеуше и в капрале Выдре^[45] из «Облавы» Марцина Кшишталовича (2012), — воля сохраниться и выжить, упорство, нечто такое, чем обязательно должны были обладать все те, кто пережил Вторую мировую войну, поскольку, если бы они не были

наделены этими качествами, сегодня нас бы просто не существовало в этом мире. Посредством такого персонажа, как Роза, Войцех Смажовский не столько вернул достоинство^[46] жертвам военных изнасилований, ибо эти женщины ведь никогда его не потеряли, сколько извлек их из небытия, возвратил им идентичность, отдал обратно их тела и напомнил о жертвах преступлений, состоящих в объективации людей и завладении ими. Быть может, кино (особенно польское) испытывает трудности с темой военных изнасилований по той причине, что эта тема в визуальном отношении гораздо привлекательнее многих иных^[47], но прежде всего потому, что «психологически» борьба более приемлема, чем пассивность? У жертвы изнасилования (особенно военного), как правило, нет шансов на то, чтобы бороться, часто даже чтобы выжить, и женщина вынуждена капитулировать^[48]. А побежденных польская (мужская) культура не любит. И пачкать — даже самую малость — столь характерную и столь важную для нее (хотя и такую архаическую) парадигму чистоты тоже.

Итак, какова же эта картина войны в фильмах Смажовского? В «Розе» мы видим в первую голову только акты насилия, которыми являются попытки Тадеуша защитить Розу от мародеров, а также знакомимся с ретроспекциями женщины по поводу изнасилований; есть там и открывающая фильм жуткая сцена мучений и смерти жены Тадеуша, а также несколько секвенций про истязания мужчины, которого пытаются энкаведешники. Зато нет никаких вооруженных стычек или столкновений между какими-нибудь подразделениями либо отрядами. Сходным образом обстоят дела и в «Волыни», где мы, конечно же, узнаём об участии Скибы в сентябрьской кампании 1939 г., но больше всего наблюдаем, что те, кто еще недавно гостили друг у друга на свадьбах, вдруг вследствие... — я даже не знаю, чего именно, поскольку трудно описать или охарактеризовать этот механизм, — начинают взаимно убивать одни других. «(...) А ведь это люди устраивают войны. (...) Дикость идет от человека. В то самое время, когда православные попы освящали бандеровские топоры, католические ксендзы тоже освящали ножи хорватских усташей, которые потом перерезали ими горло сербам. Во всем мире у нас есть примеры того, на что способен человек, когда его вооружат соответствующей идеологией и дадут разрешение на убийство. Это и Нанкин, и Руанда, и Сребреница, и многие другие места»^[49], — говорит Войцех Смажовский, который не занимается историческим батальным кино, а просто показывает, как соседи поступали с соседями^[50]. После смерти Розы ее маленькую усадьбу тоже

забрали себе (а конкретно — обокрали ее дочку) новые соседи покойной. И что с того, что эти люди были переселенцами и тоже испытали нечто подобное страшному опыту мазурынки?

Фильмы Смажовского ужасают и трогают не потому, что они полны демонстративно изображаемого и нарочитого насилия, а по той причине, что источник показываемого в них зла находится рядом — прямо за углом, за забором, на этой же самой улице.

Публикация с сокращениями. Полная версия — в журнале «Культураvspulческа» 2017, № 2.

1. Мазурия — область на северо-востоке Польши (близ бывшей Восточной Пруссии), которую населяли мазуры — этнографическая группа поляков, говоривших на особом наречии польского языка, обладавших специфическими чертами в одежде, быте и народном искусстве, а также исповадавших главным образом протестантство. Мазурия до Первой мировой войны входила в состав Германии, а после нее стала одной из спорных территорий, на которые претендовали и воссозданная Польша, и Германия, причем на плебисците, проводившемся в этом регионе согласно Версальскому договору, в пользу принадлежности к Германии высказалось около 98% населения. — Примеч. пер.
2. Варшавское восстание (1 августа — 2 октября 1944 г.) было начато по указанию эмигрантского правительства из Лондона подпольной Армией Крайовой (АК). В итоге его разгрома погибло 150–200 тыс. бойцов АК и жителей, а Варшава оказалась примерно на 70% разрушенной. — Примеч. пер.
3. A. Morstin, *Mocne filmy i głębokie kompleksy. «Róża» Wojtki Smarzowskiego wobec «Jak być kochaną» Wojciecha J. Nasa*, „Kwartalnik Filmowy” 77–78/2012, s. 204.
4. Там же, с. 206.
5. Польско-украинские столкновения на Волыни и в западном Подолье начались в марте 1943 г. и продолжались в первой половине 1944 г. Поначалу украинцы, подталкиваемые полицией и СС, призывали поляков покинуть названные земли, тогда как поляки не хотели уходить из мест, где жили испокон веков. Итогом стала резня целых польских деревень; многие из которых были сожжены, а население уничтожено Украинской повстанческой армией (УПА) и помогавшими ей полицейскими отрядами, позже влившимися в дивизию СС

«Галичина». Поляки в ответ тоже «усмиряли» украинские деревни. Оценивается, что в боях, а также в индивидуальных и групповых убийствах погибло 80–100 тыс. поляков и около 30 тыс. украинцев. Стычки продолжались еще и после войны.

6. В этом городе, находящемся в Нижней Силезии на самом западе Польши, в 1945–1984 гг., кроме целого ряда гарнизонов, располагался штаб Северной группы войск СССР, а затем вплоть до 1991 г. — Главное командование войск западного направления. Вся Польша называла этот город «Маленькой (или Малой) Москвой».
7. W. Pięciak, *Wołyń'43. Wołyń Smarzowskiego*, „Tygodnik Powszechny” nr 39, 2016, s. 14.
8. Там же. Понятие «учредительного убийства» закрепилось в польских СМИ после телеспектакля под таким названием (2008), в котором представлены события на рубеже 1942–1943 гг., связанные с загадочным убийством соучредителя и тогдашнего первого секретаря коммунистической Польской рабочей партии Марцели Новотки (псевдоним «Старик»).
9. Как следует из интервью с Войцехом Смажовским, которое взял у него Конрад Е. Зарембский за несколько дней до торжественного вручения кинопремий «Орлы», состоявшегося 20 марта 2017 г., в Украине фильм «Волынь» к тому моменту еще не демонстрировался (K.J. Zarębski, *Po to robię filmy — rozmowa z Wojtkiem Smarzowskim*, „Kino” nr 5, 2017, s.39).
10. В марте 1968 в Польше разразился политический кризис, начало которому положили студенческие протесты. Агрессивные действия полиции против митингующих сочетались с репрессиями по отношению к гражданам еврейского происхождения. — Примеч. пер.
11. Войцех Хас в своем видении кино, женщин и истории был действительно фигурой исключительной.
12. Эти же фильмы перечисляет в своей статье и Агнешка Морстин.
13. См. M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*, Kraków 2007, s. 259–299.
14. Там же, с. 315.
15. J. Prokop, hasło „Kobieta Polka” w: *Słownik literatury polskiej XIX wieku*, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994, s. 414.
16. Взгляду на указанные фильмы как на попытку ответить на вопрос: «Кто мы такие, от кого ведем свой род и чьими

являемся?», — положила начало следующая работа: Tadeusz Lubelski, *Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961*, Kraków 2000, где, во-первых, было выдвинуто предложение использовать в киноведческой рефлексии такую категорию, как «стратегия», а во-вторых, несколько фильмов польской школы были признаны возникшими в результате применения их создателями «стратегии терапевта» (с. 138-175).

17. Любопытно, что не всегда это Матери-польки: Роза из одноименного фильма — мазурянка, а Вера из «Малой Москвы» — русская. Эльжбета Олексы считает фигуру Матери-польки одной из двух конструкций женственности, доминирующих после войны в польских визуальных средствах массовой информации (вторая — это суперженщина); однако в конечном итоге она приходит к выводу, что «Мать-полька, показываемая в послевоенных кинофильмах, всегда является трагической фигурой», и быть может, именно поэтому в дальнейшей части своих рассуждений концентрируется на тех кинокартинах, где предпринимались попытки преодолеть оба названных стереотипа (Е. Н. Oleksy, „Wróblek ze złamanym skrzydłem [...] i kieliszek czystej”. Konstrukcje kobiecości w polskiej powojennej kulturze wizualnej w: *Gender – Film – media*, red. E.N.Oleksy, E.Ostrowska, Kraków 2001, s. 177-188).
18. В своей работе «Жертвы фрустрации...» я выдвигаю тезис, что герои польских кинофильмов, создаваемых после 1989 г., претерпевали эволюцию от Гангстера к Отцу.
19. Фильм 2010 г. режиссера и сценариста Яна Якуба Кольского по мотивам рассказа Влодзимежа Одоевского «Сезон в Венеции». — Примеч. пер.
20. J. Prokop, dz. cyt., s.415.
21. И как раз в факте наличия у героини эротической жизни я усматриваю реальную деконструкцию, а может быть, только «низведение с пьедестала» монументальной фигуры Матери-польки. «Женщина-полька» должна была представлять «ангелом, но ее херувимское ангелоподобие — в противоположность тому ангелоподобию, которого требуют от падающих в обмороки и беспомощных героинь множества западноевропейских мещанских романов, — не исключает силы и мужества (...) Женщина выступает как вдохновение, а также как ангел-хранитель и ангел-опекун (...), но вместе с тем и как *mulier forte* (сильная женщина — лат.), женщина мужественная. (...) Полька почти никогда не бывает падшей женщиной вроде Дамы с камелиями у Александра Дюма-сына» (там же, с. 415).

22. В оригинале по-русски — Примеч. пер.
23. В последнем эпизоде фигура Зоси поддается интерпретации в качестве «пограничного бытования», что можно признать отсылкой к романтической традиции, коль скоро «голос женщины в романтической культуре зачастую локализовался в районе пограничных бытований» (М. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna*, dz. cyt., s. 67).
24. «Это открытое окончание, и зритель сам должен ответить себе, что же это за река в последней сцене — Буг или Стикс? А что с героиней — она выжила, утратила рассудок или, может быть, умерла? Указанная сцена умышленно и целенаправленно сделана столь нереально длинной; кроме того — о чем я уже сказал минуту назад — для меня было важно, чтобы зритель вышел из кинотеатра не переполненный эмоциями и кипящий гневом после увиденной им резни, чтобы у него было время остыть. Задуматься». (K.J. Zarębski, *Po to robię filmy – rozmowa z Wojtkiem Smarzowskim*, dz. cyt., s. 39).
25. думаю здесь о героинях, а не о зрителях.
26. Мне это известно из беседы, которую я провела с Войцехом Смажовским во время фестиваля *Camerimage* в 2011 г. Запись нашего разговора находится в моем архиве. Режиссер также сказал тогда, что показывает скорее «миры не для женщин», а «Розу» снял потому, что хотел, наконец, сделать фильм о любви.
27. «Рота» — патриотическая песня (1910) Феликса Нововейского на слова Марии Конопницкой, содержащая, в частности, фразу: «Не будет немец плевать нам в лицо». — Примеч. пер.
28. М. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna*, dz. cyt., s. 315.
29. Дай-то Боже, чтобы предложение о таком окончании вооруженных конфликтов стало закономерностью не только в кино. Идентичный способ разрешения ситуации — причем не где-нибудь, а на Ближнем Востоке, — предложил Дени Вильнёв в фильме «Пожары», который представляет собой адаптацию драмы, написанной ливанцем Важди Муавадом, в которой рассказ об истории этого региона тоже ведется, «от лица женщины». Следует обратить внимание на транскультурное восприятие указанной кинокартины, о чем свидетельствует количество завоеванных ею призов и премий — начиная с Гран-при Варшавского кинофестиваля в 2010 г. (в следующем, 2011 году ту же самую премию там получит... «Роза») и заканчивая наградой на фестивале в Абу-Даби

для исполнительницы главной роли и специальным призом МКФ в Венеции.

30. M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna*, dz. cyt., s. 315.
31. M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna*, dz. cyt., s. 289.
32. Роза — из мазуров. Агнешка Морстин усматривает ценность и важность указанного фильма Смажовского не столько во введении в публичное пространство темы жертв военных изнасилований, сколько в напоминании о судьбе мазуров: «Очень важно, что в нашей исторической рефлексии наступил, наконец, этап, на котором мы начинаем интересоваться населяющими польские земли меньшинствами, замечая также и их страдания. Для самовлюбленных, нарциссических поляков, которые на протяжении долгих лет не замечают мартирологии соседей, это означает весьма и весьма красноречивый шаг вперед. Ибо ведь потребовалось несколько десятилетий, чтобы в наше коллективное сознание постепенно начало пробиваться более глубокое осознание Катастрофы евреев, — данный процесс начался по-настоящему лишь в 1980-х годах, после публикации эссе одного из крупнейших польских историков литературы Яна Блоньского под названием «Бедные поляки смотрят на гетто» (Jan Błoński, *Biedni Polacy patrzą na getto*) [перевод сокращенной версии по-русски, см. «Новая Польша» 3/2009 — примеч. перев.]. Я верю, что у фильма Смажовского «Роза» есть шанс стать текстом культуры, который — извлекая сообщество мазуров из польского подвала беспамятства, если воспользоваться формулировкой того же Блоньского, — оживит в отечественном кино тот дискурс, который войдет в диалог с историей национальных и этнических меньшинств, а также с польским отношением к ним (см. A. Morstin, *Mocne filmy...*, dz. cyt., s. 205).
33. M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna*, dz. cyt., s. 267, 269–270, 272.
34. Такая практика была повсеместной, девочек пачкали сажей, переодевали в мальчиков, прятали (см. уже не раз цитированную статью А. Морстин). Из беседы с Войцехом Смажовским я знаю, что любые вопросы, связанные с военными изнасилованиями, он документировал, а затем инсценировал, пользуясь воспоминаниями жительниц Силезии.
35. История Петро и Зоси только мнимо кажется «перевертышем» истории Зосиной сестры и ее мужа, которым удастся пожить вместе только несколько лет, а сразу же после резни оба гибнут в результате польской

мести. В любовных историях сестер Гловацких легко можно заметить очередной, «обработанный» Смажовским миф — миф о любви казака к польке. О том, каким образом этот режиссер трактует мифы, характерные для нашей истории и культуры, я писала в следующих своих работах: *Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku*, Warszawa 2012, s. 236; *Znaczenie bieli w nowych polskich filmach* ["Dom zły", "Chrzest", "Miłość", "Oczy mojego ojca"], w: *Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej*, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 371–382). Надо еще сказать, что благодаря осуществленной режиссером деконструкции мифа — ибо ведь автор фильма решительно противится насилию и в своих картинах последним эпизодом всегда высказывается в пользу надежды, — это уже не «утопающая обычно в крови, измене и преступлении безумная любовь казака к "красивой ляшке", что порой понималось как метафора запутанных связей Польши и Украины» (M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna*, dz. cyt., s. 169), а всего лишь простое повествование о любви, которой не дано было по-настоящему реализоваться. Здесь между влюбленными друг в друга молодыми людьми нет никакого безумия, измены, предательства или преступления. Их вероломно выдают и убивают соседи, которые обезумели от жажды мести.

36. В интервью, взятом Катажиной Кубисёвской, мы читаем: «К.К. — После "Розы" ты давал зарок, что не будешь снимать очередного исторического фильма. В.С. — Поскольку зритель не хочет смотреть на картонные танки, то для исторической картины необходимы довольно-таки изрядные деньги, которых в Польше нет. Одновременно после сеансов "Розы" я столкнулся с такими эмоциональными реакциями, которые застряли у меня в голове, — а моя работа обрела еще одну дополнительную краску. (...) И вопреки тому, что декларировалось мною раньше, я решил снова снять историческую ленту. И как-то сразу мне попал в руки номер журнала "Карта", в котором я прочитал рассказы поляков, уцелевших и спасшихся от резни. А после этого начал читать книги на эту тему, которых даже во времена коммуны вышло едва ли не сотня штук. (...) Вот именно, акция "Висла" — это очередная тема для кино» (K. Kubisiowska, *Dzikość idzie z człowieka – rozmowa z Wojciechem Smarzowskim, reżyserem*, „Tygodnik Powszechny” 39/2016). Для моих наблюдений особенно важной кажется последняя фраза. Имеет смысл привести здесь и признание режиссера о том, во что ему обходится работа над такого

рода фильмами: «Я сам после "Плохого дома" приходил в себя на протяжении года, а после "Розы" еще так и не очухался. На этой картине случались очень эмоциональные, прямо-таки экстремальные ситуации, вроде сцены коллективного изнасилования, одной из наиболее важных. Требовалось показать это, а не рассказать про это. Если у тебя есть такт, то при реализации таких эпизодов надо им пользоваться». (М. Lebecka, *Róża z Mazur*, „Film Pro” 3/2011, s. 52).

37. A. Morstin, *Mocne filmy...*, dz. cyt., s. 205.
38. Имеются в виду поляки из ставших советскими Западной Украины и Белоруссии, которых после войны переселяли оттуда на вновь обретенные Польшей бывшие германские земли, опустевшие после выдворения оттуда немцев. — Примеч. перев.
39. Как пишет Аниита Петровская, «одна из наиболее болезненных сюжетных линий этого фильма касалась соседей, а точнее, переселенных польских жителей восточного Пограничья, которые буквально за один день становятся врагами Розы и ее дочери» (A. Piotrowska, *Smarzowski od demonów*, „Tygodnik Powszechny” 39/2016, s. 15).
40. Трудно не обратиться в этот момент к двум героиням, реакции которых на опасности военной поры диаметрально разнятся, и причиной этого является как раз семейная ситуация. Схваченная во время облавы Луция Король (Магда Тереса Вуйчик) умоляет немца, чтобы тот ее отпустил, так как дома ее ждет сыночек. В свою очередь, революционерка Кама (Барбара Грабовская) из «Горячки» Агнешки Холланд (1980), адаптации «Истории одного снаряда» Анджея Струга, без тени страха решается совершить покушение на генерал-губернатора, желая таким способом показать себя на глазах у Леона (Ольгерд Лукашевич), опытного и чуть ли не легендарного конспиратора, в которого она влюблена. Луция руководствуется подлинной любовью к детям и чувством ответственности за них; Кама — иллюзией близости с мужчиной, который не видит в ней товарища по борьбе, но зато с большой охотой объективирует — сексуально использует ее после побега из тюрьмы. Лихая смелость девушки, смотрящей на Леона как на свой идеал, весьма ему на руку.
41. «Важный фильм способного режиссера, после которого нужно ожидать многого. Важный, потому что — пользуясь способом, который до сих пор в истории нашего кино не встречался, — эта кинокартина порывает с

табуированностью военных изнасилований. И поднимает, следовательно, тему чрезвычайной трудности — как по эстетическим, так и по эмоциональным и политическим соображениям» (A. Morstin, *Mocne filmy...*, dz. cyt., s. 201).

42. О теме наличия сразу после войны сексуального насилия на вновь обретенных Польшей бывших германских землях намеками говорили также в своем фильме «Закон и кулак» (1964) Эдвард Скужевский и Ежи Гоффман — их главный герой, которого играл Густав Холоубек, спасает подвергшуюся нападению незнакомку из опасного, буквально критического положения, чтобы тем самым добиться признания в глазах девушки, которая ему понравилась.
43. О том, каким образом кинематографисты справляются с темой военного сексуального насилия, убедительно, хотя и в весьма конденсированном виде, пишет Агнешка Морстин (A. Morstin, *Mocne filmy...*, dz. cyt.)
44. Там же, с. 206.
45. На эту роль тоже назначили Марцина Дороцинского. Кшишталович сделал фильм, вдохновленный биографией собственного отца. Кончается II мировая война, отряд капрала Выдры прячется в лесу. Главный герой выполняет в сообществе партизан специфическую функцию — приводит в исполнение приговоры, вынесенные изменникам. Сам он тоже изменник, но в микромасштабе — позволил себе супружескую измену, следствием чего стала смерть его жены и ребенка. Персонажей Смажовского и Кшишталовича связывает не только тот факт, что обоих сыграл один и тот же актер, но и нечто большее: у обоих — несмотря на погруженность одного из них (Тадеуша) в смерть, случившуюся не по его вине, и на состояние второго, который полностью погряз в смерти (функцию палача Выдра рассматривал как своего рода епитимью в наказание за свою греховную любовную интрижку) — хватило сил, чтобы начать жизнь наново.
46. Агата Кулеша говорит о своей героине так: «Она близка мне потому, что я очень похоже думаю о потребности в независимости, в свободе, в признании своего достоинства. Кроме того, она выступает как воплощение унижаемых женщин. Это важно» (M. Lebecka, *Róża z Mazur*, dz. cyt., s. 44).
47. Однако Агнешка Морстин считает тему сексуального насилия своеобразно притягательной: «Такого рода заманчивых и сильнодействующих тем — поскольку они до неприличия смелы, рискованны, и привлекают внимание

— в литературе и в кино существует по меньшей мере несколько, и авторами это было осознано уже относительно давно. Первенство принадлежит здесь Холокосту, а сразу вслед за ним располагается лагерно-тюремная тематика, как на польском, так и на советском материале» (А. Morstin, *Mosne filmy...*, dz. cyt., s.201).

48. Агнешка Морстин обращается к фрагментам из воспоминаний жительницы Силезии Хелены Плюшке. Агата Кулеша вспоминает реализацию одного из самых трудных эпизодов, а именно, сцены изнасилования так: «Уже на подготовительном этапе: разговоров, проб, репетиций, переписки сВойтеком по электронной почте — мы пришли к выводу, что в этот момент Роза спокойна и внутренне заморожена; что она даже не чувствует страха. Ведет себя тихо и не борется, так как знает: где-то поблизости может находиться ее ребенок. Для меня было важно, что она смотрит в небо, обращаясь к Богу, поскольку мир, который она знала, перестает существовать» (М. Lebecka, *Róża z Mazur*, dz. cyt., s.44). Об ответственности, связанной с реализацией подобных сцен, вспоминал также режиссер.
49. K. Kubisiowska, *Dzikość idzie z człowieka*, dz. cyt., s. 11, 12.
50. Ассоциация с названием знаменитой книги Яна Томаша Гросса более чем желательна. [Документальная книга Я.Гросса «Соседи. История уничтожения еврейского местечка» (2000), которая стала в Польше предметом общенациональной дискуссии. В ней рассказывается, как в расположенном близ Белостока местечке Едвабне польские жители 10июля 1941 г., т.е. вскоре после вступления туда немецких войск, заперли своих еврейских соседей в огромном сарае и сожгли их. В общей сложности погибло несколько сот человек. — Примеч. пер.]

Размышления о современных революциях

В минувшие годы вышли в свет две необычайно интересные книги авторства польских репортеров. Главная тема этих работ — последние события на Украине. Я имею в виду «Убить дракона. Украинские революции» Катажины Квятковской-Москалевич и «Моторы революции» Гжегожа Шиманика. Эти сборники репортажей объединяет прежде всего сравнительная перспектива во взгляде на действительность. Автор первой публикации пробует вывести генезис Майдана 2013–2014 гг. из краха оранжевой революции, автор второй — ищет аналогии между украинской революцией и арабской весной, а также задумывается над возможностью потрясений в других государствах, образовавшихся после распада СССР. Обе книги выдержаны в подобной стилистике. Язык репортажей — сухой и экономный, лишенный авторского комментария. Репортеры «скрыты» за тем, что рассказывают их собеседники. Соответственно и человеческие истории, порожденные в борьбе с системой, подобраны так, чтобы заставить читателя задуматься над неожиданностью и остротой социальных перемен в современном мире. Важной точкой отсчета для этих публикаций всегда остается Польша. И все же между «Убить дракона...» и «Моторами революции» имеются различия, состоящие в том, что Квятковская-Москалевич главный упор делает на показе процессов трансформации, а Шиманик подчеркивает участие личности в творении истории.

Символичность заглавного дракона в книге Катажины Квятковской-Москалевич следует интерпретировать многозначно. «Нельзя победить дракона, ибо тот, кто его убил, сам становится драконом. Это мудрость народов Азии. Жаль, что в Европе этого не понимают», — говорит крымский сепаратист Андрей в репортаже «О российском драконе». Дракон в мифологии азиатских народов означает прочность и нерушимость основ царской власти. Такая властная модель укрепилась за последнее десятилетие на Украине как наследие СССР. Автор приводит также европейскую легенду о Ланселоте, который убил дракона, но эту победу присвоил себе алчный Бургомистр, который оказался еще более страшным тираном, чем летающее чудовище. Таким образом, в книге Катажины Квятковской-Москалевич показан конфликт между

фатализмом, пассивностью по отношению к власти, покорностью перед «царем» — и демократической европейской ментальностью, которой уже прониклась значительная часть украинского общества.

Убив заглавного дракона, то есть победив Януковича на выборах, состоявшихся после победы оранжевой революции, украинские политики проевропейской ориентации, увы, управляли страной точно так же, как их противник. Примеров тому мы найдем достаточно много в рецензируемой книге. Часть включенных в нее репортажей — это как раз примеры беззакония, которое воцарилось во время правления команды Ющенко. Описывая людское горе и обиды, автор иронично включает в текст возвышенные лозунги лагеря «оранжевых». Герой первого репортажа с красноречивыми именем и фамилией Богдан Хмельницкий провел в тюрьме целых четыре года, во время которых милиционеры с помощью пыток пробовали добиться от него признания в краже автомобиля. Другой пример — Алла, которая в 2004 году активно участвовала в первом Майдане, а затем пала жертвой действующей в центре Киева «квартирной мафии», которая бесчестными методами вынуждает жителей старых домов переехать, затем сносит эти здания, а на их месте возводит апартаменты-люкс. «Революции спилили зубы. Вчерашние идеалисты бросились зарабатывать деньги», — говорит политтехнолог Андрий, герой репортажа «Робин Гуд». Он также с энтузиазмом участвовал в киевском протесте. Однако быстро убедился, что между «оранжевыми» и лагерем Януковича нет никакой разницы. Украинские партии устраивали проплаченные демонстрации и заказывали в прессе статьи, содержащие скрытую рекламу. Декларируя европейский выбор Украины, политики на самом деле пытались править страной с помощью старых — основанных на беспринципности и моральном нигилизме — советских методов манипулирования обществом.

Разумеется, патологии украинской общественной жизни достигли апогея во время правления Януковича. Репортер убедительно показала, как своеволие украинской власти переродилось в уголовный террор. В ранг символа возросла деревня Вradiевка Николаевской области, где милиционеры в 2013 году изнасиловали и жестоко убили молодую женщину Ирину Крашкову. Перед смертью девушка сумела назвать фамилии преступников, но органы расследования отказались их задерживать, что привело к массовым беспорядкам. Автор книги описала также другие шумные случаи изнасилований девушек, завершившихся убийством, — восемнадцатилетней

Оксаны Макар в Николаеве в 2012 году и пятнадцатилетней Алины Поркул в той же Врадиевке в 2011-м, которые вызвали в Украине большой резонанс, но практически неизвестны польскому общественному мнению (репортажи «Сожженная» и «Прелюдия»). Во время правления Януковича Украина стала мафиозным государством, в котором власть и ее представители на местах не только обворовывали обнищавшее общество, устраивая поборы и вымогая взятки, растрачивая общественные средства с помощью коррупционных связей, но также хотели безнаказанно насиловать и убивать. В такой ситуации Майдан был неминуем, а штурм разъяренными жителями отдела милиции во Врадиевке стал его прообразом. Репортаж «Хроники Майдана» автор создавала, опираясь на уже известные из средств массовой информации описания событий на киевской площади Независимости, встраивая в текст истории своих собеседников, среди которых были, например, журналист, артистка, инженер, врач — активные, творческие люди с европейской ментальностью, для которых азиатская сатрапия Януковича была попросту неприемлема. Следует подчеркнуть литературность репортажей Катажины Квятковской-Москалевич. В тексте «Хроники Майдана» описание игры Антуанетты на выкрашенном в желто-голубые цвета фортепьяно на Майдане содержит немало элементов поэтической прозы, а в тексте «Нежелательные герои» можно усмотреть конструкцию романа. Трагические судьбы пленников, удерживавшихся сепаратистами в Славянске в подвалах бывшего здания СБУ, убедительно представлены с точки зрения другого заключенного. Рецензируемый сборник репортажей заставляет задуматься и поставить перед собой тревожные вопросы: не растеряет ли случайно команда Порошенко, победив дракона, доверие, которое оказало ей общество? Не следует ли украинскую историю понимать фаталистически, как замкнутый круг, в котором фрустрация и агрессия выплескиваются в очередных бессмысленных актах насилия, именуемых «революциями», или же ее сильной стороной будет линейность, понимаемая по-европейски, как расширение пространства свободы и демократии?

Такие вопросы кажутся еще более актуальными при знакомстве с книгой «Моторы революции» Гжегожа Шиманика. Мы найдем в ней репортажи о вождях Майдана, таких, например, как Татьяна Черновол, Дмитрий Булатов, но главное место автор отводит событиям, произошедшим после свержения Януковича. Если Квятковская-Москалевич не скрывает своей симпатии к политическим силам европейской ориентации, то в текстах Шиманика сохраняется равновесие, он пытается понять аргументы людей по обе стороны

баррикады, а голоса сторонников сепаратистов у него даже количественно преобладают. Самым интересным репортажем в его книге следует признать «Оранжево-черный день», описывающий события в Одессе 2 мая 2014 года. Автор с горечью констатирует, что после уличных боев и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле произошла ломка одесской идентичности, ране характеризовавшейся чувством юмора, открытостью, толерантностью. Автор пробует предпринять собственное журналистское расследование, утверждая, что многие доказательства были уничтожены. В связи с этим жители города состязаются в создании фантастических теорий. В «Моторах революции» Украина предстает как страна, расколотая напополам, и не видно шансов на понимание между сторонниками Майдана и теми, кто симпатизирует сепаратистам, поскольку они пользуются диаметрально противоположными аргументами, языками, системой ценностей. Конфликт в этой стране и в самом деле выглядит как столкновение цивилизаций.

Из охваченной войной Украины читатель переносится в погруженный в хаос Египет. Аналогия между Майданом и арабской весной необычайно интересна и, конечно, требует тщательного изучения. Стоит подчеркнуть, что в Украине, одновременно с репортажем Шиманика, увидела свет книга журналистки Наталки Гуменюк «Майдан Тахрир. В поисках утраченной революции». Польский репортер приезжает в столицу Египта в 2013-м, то есть через два года после свержения диктатора Хосни Мубарака. Шиманик рассказывает историю Ахмеда, участвовавшего в трех последовавших один за другим протестах на площади Тахрир (против Мубарака, узурпировавшего военную власть и уступившего на выборах президенту Мурси), здоровье которого в результате этих столкновений серьезно пострадало. Он был ранен в голову и потерял зрение. Однако Ахмед до сих пор считает события на площади Тахрир незавершенной революцией, поскольку испорченность египетского общества сделала невозможной проведение настоящих перемен. Пытаясь понять причины арабской весны, Гжегож Шиманик посетил также другие страны этого региона — Ливию, Сирию, Мавританию.

В обеих книгах присутствуют польские сюжеты или аллюзии на ситуацию в Польше. Прежде всего, с этой точки зрения интересен репортаж Шиманика «Охранник» о выходе из Беларуси Антони, молодом человеке с польскими корнями, который после приезда в Польшу на учебу в вуз связался с польскими националистами. Парадоксально, но его привлекло не «европейское лицо» Польши, в отличие от большинства

приезжающих с Востока, а темный ее облик. Хотя он, как утверждает, не любит Александра Лукашенко, можно догадаться, что в его случае произошла любопытная сублимация постсоветской ментальности и ностальгии по тоталитаризму. В свою очередь, простые люди с каирских улиц заявляют, что революционеры с площади Тахрир — «это не настоящий Египет». Революционеры в свою очередь полагают, что революция была у них украдена пассивным большинством, которое отдало власть фундаменталистам из «Братьев-мусульман». Да и в Польше время от времени можно услышать суждение, что либеральная интеллигенция из Комитета защиты рабочих — это «не настоящие поляки». Так что метафора убитого дракона может относиться и к ведущемуся в Польше спору, касающемуся роли отдельных лиц в свержении коммунизма и попыток поставить под сомнение авторитет Леха Валенсы. На мой взгляд, обе книги характеризуются попыткой универсального взгляда на революционные перемены в Центральной и Восточной Европе и арабских странах, и обе долго еще не потеряют своей актуальности.

Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, *Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje*, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.

Grzegorz Szymanik, *Motory rewolucji*, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.

Иконописцы в Замлынье

«Завершился IV Международный пленэр иконописцев на Волыни, который летом прошлого года, по окончании третьего пленэра, нам хотелось назвать «Четыре стороны света. Материнство». Нам казалось, что так оно и есть ... Но, может быть, мы слишком много пытались передать этим названием, забыв о том, что представление о сторонах света бывает у людей несколько ущербным, таким, что ли, приземленным... Так что — кто знает — может, нужно было назвать его «Пять сторон света»?!

Таким наименованием мы также стремились немного поощрить участников очередного пленэра к тому, чтобы создавая иконы или другие работы сакрального искусства, они попытались несколько выйти из нашего культурного окружения и обратиться к более отдаленным во времени и пространстве мотивам. Вспомнили хотя бы североафриканские произведения древнего сакрального искусства, живопись Южной Америки XVI века, художественное восприятие христианства североамериканскими индейцами или невероятно впечатляющие африканские и эскимосские изображения Богоматери с Христом.

И второе «но» — год тому назад никто не мог предположить, что произойдет в нашей части мира, что предыдущая команда украинской власти откажется от европейского пути, что украинцы сами, посредством Майдана, захотят выразить свою субъектность, что в центре Киева дело дойдет до жестокого кровопролития, что ползучая дикая война будет без конца поглощать всё новые жертвы...

Все мы — участники и организаторы пленэра, оказались перед дилеммой: если мы сами не сумеем понять, что происходит рядом с нами, то нам, тем более, следует отказаться от названия пленэра, который всё-таки нельзя назвать «ВОЙНА»! Так пусть иконы и работы сакрального искусства, созданные в этом году, говорят сами и помогают нам понять эти трагически тяжелые времена»^[1].

Такова концепция и цель международных пленэров иконописи и сакрального искусства на Волыни. Это проект, ежегодно собирающий группу художников из Польши и Украины. Один из основных принципов этого мероприятия — потребность в

обмене польско-украинскими идеями и опытом при написании икон, а также творение сакрального искусства в общем пространстве. Взаимопроникновение двух культур и знакомство с религиозными контекстами византийского сакрального искусства — это, несомненно, одни из главных аспектов в процессе создания очень важных произведений. Интеграция людей, идентифицирующих себя как с римско-католической и греко-католической, так и с православной церковью, является основой для понимания не только истории и сакрального искусства каждой из церквей или обоих народов, но и событий в современном мире. Благодаря этой инициативе, при помощи организаторов и участников мероприятия, создается новая история украинцев и поляков, а пленэры уже стали визитной карточкой нынешней Волыни.

С 2011 года состоялось уже семь международных пленэров иконописцев на Волыни. Они проходят регулярно, каждый год, в летний период. Обычно их начало приходится на пятницу перед вторым воскресеньем июля, а длятся они около двух недель. Местом реализации проекта выбран расположенный всего в нескольких километрах от польской границы Центр интеграции в Замлынье на Украине. Это прекрасное место, благоприятствующее творческому труду, позволяющее сосредоточиться среди лесов и рек, ежегодно привлекает на пленэр многочисленную группу художников из Польши и Украины, а также организует такие мероприятия, как: летние лечебно-интеграционные лагеря для детей-сирот и беженцев, летние школы иностранных языков и польского языка, театральные мастерские для молодежи, ретриты для семей, ретриты для священнослужителей и другие проекты. Опорой и вдохновителем для участников является ксендз Ян Бурас — генеральный викарий Луцкой епархии римско-католической церкви на Волыни и директор Центра интеграции в Замлынье.

На этот раз совместно творили 30 иконописцев, художников, а также студентов Академии изящных искусств во Львове.

Концепция пленэра возникла несколько лет тому назад. Одна из организаторов проекта, Катажина Якубовская, говорит: «Идея родилась по примеру «Пленэра Матери», то есть Пленэра иконописи в Новице (на польской Лемковщине). Нам хотелось создать нечто подобное, работающее на тех же началах, таким же образом, но здесь, на Украине». Каждый год участников ожидает новая основная тема, которая коллегиально выбирается организаторами еще годом раньше, как и сами сроки очередного мероприятия. «На самом деле, для выбора темы есть два направления. Одно из них — это идея о выборе

тем, которые каким-то образом укоренились здесь, в Замлынье, но также и на Украине, и здесь, на польско-украинском пограничье. Речь идет о том, чтобы стараться соответствовать культурно-социальным запросам, возникающим как на Украине, так и в самих польско-украинских отношениях. На выбор темы также влияют текущие события на Украине и история обоих народов» — добавляет она. Один из важнейших аспектов пленэра — диалог между народами, диалог в очень разных плоскостях. Интеграция через взаимопознание культур, обычаев, религий и языков друг друга дает о себе знать уже с самого начала. Художники быстро становятся друзьями, вместе проводят время, творят, а также обмениваются замечаниями на тему работ друг друга. «Икона — это путь к Господу Богу, но для нас икона — это еще и путь к единению. Помнишь, в первый день я сказал, что еще поставлю вам флажки на столах, ведь за ужином поляки и украинцы сидели отдельно, а потом нам пришла мысль соединить оба стола. И так это выглядит всякий раз. Так это начинается» — говорит кс. Ян Бурас, генеральный викарий Луцкой епархии, директор Центра интеграции в Замлынье («Каритас» Луцкой епархии), где проводятся пленэры.

С 2011 года у каждого из пленэров была своя основная тема. На сегодняшний день поднимались такие темы как: «Святые покровители и покровительницы Польши и Украины. Икона как источник вдохновения», «Странствующие святые», «Святые Волынской земли», «Святые мира», «Милосердие Божие» и «Пятикнижие в иконе». Исключением стал четвертый, оставшийся без названия в связи с трагическими событиями, которые коснулись Украины в конце 2013 — начале 2014 года. В 2015 году изменилось название проекта, что, по мнению организаторов, было продиктовано желанием расширить тематику и за счет этого открыть художникам еще одну дверь в процессе творчества. Таким образом, пятое мероприятие носило название «Международного пленэра иконописи и сакрального искусства на Волыни», а не, как было ранее принято, «Международного пленэра иконописцев».

В этом году темой седьмого пленэра стало «Пятикнижие в иконе». Через работы участников мы можем увидеть, как совершенно разные люди, различных культур и национальностей, интерпретируют или передают первые пять книг Библии. Результат поразителен. Мы встречаемся с иконами, написанными традиционным образом, в соответствии со всеми принципами иконописи, но современными техниками, а также с картинами и графикой на

сакральные темы. На пленэре все говорят на одном языке, на языке искусства.

Международные пленэры иконописи и сакрального искусства на Волыни проводятся под патронатом Консула РП в Луцке епископа Виталия Скомаровского — ординария Луцкой епархии римско-католической церкви, а также епископа Иосафата Говеры — волынского экзарха греко-католической церкви. Организаторами являются Генеральное консульство РП в Луцке, Центр интеграции в Замлынье, Волынская организация Национального Союза художников Украины, Львовская Национальная академия изящных искусств, а также Кафедра украинистики Варшавского университета и сообщество иконописцев из Польши.

В течение 7 лет после первого пленэра в 2011 году состоялось уже 60 постпленэрных выставок, некоторые совместно с работами с пленэров в Новице.

Произведения постоянно находятся в постпленэрном турне, а информация о предстоящих выставках публикуется в профиле на фейсбуке.

16 июля текущего года в свое путешествие отправилась очередная выставка работ, выполненных во время пленэра, который состоялся в этом году.

В ходе пленэра мы взаимно учимся, вдохновляем и помогаем друг другу, делимся материалами, обмениваемся замечаниями и творческими приемами. Иногда мы поем, иногда танцуем, а порой, на рассвете или в сумерках, отправляемся на велосипедные прогулки. Хуже всего моменты прощания. С одной стороны, мы радуемся возвращению домой, к нашим семьям, но с другой — нам хотелось бы остаться подольше и проводить время вместе. А самый лучший момент — это новая встреча, иногда за рамками пленэра, а раз в год в нашем маленьком раю, в Замлынье на Украине.

Текст составлен на основе материалов, размещенных в постпленэрных каталогах, и бесед Анны Яворской с консулом Кшиштофом Савицким, кс. Яном Бурасом, Катажиной Якубовской, а также участниками пленэров 2016 и 2017 года.

-
1. К. Савицкий, В. Марчук, Предисловие / Каталог IV Международного пленэра иконописцев на Волыни (4–25 июля 2014 г.) – Луцк, 2014.

Стихотворения

Борщевик

Что сказать о моем путешествии на Волынь —
не знаю, вопрос был задан из вежливости
Говорю *Незачем туда ездить*
без мачете... — в глазах друзей замешательство
Смотрят на потолок, быстро меняют тему
«Мачете» — чуждое слово, мы же
в польско-европейском центре культуры, скоро
открытие выставки
Неудачное начало рассказа, плохая метафора
Я сама виновата, а ведь хотела всего лишь
рассказать о заросшем травой кладбище
в Купичеве, где спокойно спит двоюродная прабабка
Казимира Червинская, которой посчастливилось
умереть в 1936 году в возрасте 60 лет
Мы хотели зажечь свечу на ее могиле
Она воспитывала осиротевшего деда
и я обещала себе когда-нибудь это сделать
что ж, сама виновата, не получилось продраться
без оружия сквозь заросли борщевика Сосновского
Мы боялись за свою кожу, стебли вымахали на два метра
Другие поляки были здесь до нас, поставили крест
на краю заброшенной памяти и ржаного поля
Поле было чистое, все сорняки вывели пестициды
А наши мертвецы колосились буйно под сенью борщевика

Я только хотела сказать: борщевик Сосновского
отличается тем, что пока ты его не тронешь,
или он тебя, он кажется красивым,
а его соцветия — странными и прекрасными
Если столкнуться с ними во время дождя
их красота только лишит тебя зрения
оставит на коже как бы незаживающее уродство
В солнечную погоду она могла бы убить нас
одним только запахом эфирных масел
Борщевик на солнце становится убийцей
на солнце, которое нужно ему для жизни
точно так же, как нам, и так же
как мы, он по ночам беззащитен
Мы не взяли с собой мачете
Тетя Казя прогнала нас с кладбища

Свечки мы зажгли рядом, в канаве
Уезжая, с собой увезли в ноздрях
запах кумарина, напоминавший петрушку
в общем, ничего
необычного

Сговорилось

Может, если бы вдруг вышло солнце
дождь не лил бы нам на головы
если бы зонт не сломался
провода не порвала карман
если бы не мокрые ботинки после
блуждания по бесконечному кладбищу
если бы не та свечка, которую мы не зажгли
потому что дул ветер
если бы мы не проголодались
а в гостинице сауна горячий ужин чистая постель
если бы плитки дорожек не поросли травой
если бы клумба у памятника не казалась
диким зеленым мясом в мутном соусе грязи
если бы не опрокинутые вазоны
если бы не эти дешевые искусственные цветы и венки
если бы не обломанные ветки березы
если бы не даты на надгробии с именами погибших
гласящие, что война здесь началась только в 1941-м
если бы чернота на шифере старой хаты
не контрастировала бы так с ярко-голубой крышей
хозяйства свежотремонтированного Бога
если бы двери церкви были открыты
для прекрасного многоголосого пения
если бы не брошенная на середине стройка
нового жилища, на которую уже наступают
воинственные стрелы чертополоха
может быть, если б не надпись, стреляющая между глаз
очередью черных чугунных букв
если бы не эта надпись: *Вечная слава войнам...*
если б у нас были с собой словари
и мы бы не помнили несмешные семейные шутки
что «у всех украинцев черные языки»
если бы мы были более пытливы —
может быть, нам проще бы было понять
за что тебя здесь, Леся Украинка, так любят
в твоём Колодежно
каменная хозяйка округи
кому, чему ты светишь под гранитом туч
А так — не вышло, быстро поверхностно невозможно
как будто сговорилось все

Красивый вид

С бастиона Дубенского замка мы фотографируем округу:
река мост зелень без рамок борозд плавная
Я перевешиваюсь через перила чтобы увидеть больше
Кто-то идет вдоль реки по тропинке — какой-то мужик
Слишком далеко, чтобы разобрать детали
Мужчина увидел нас, поднимает руку, машет
Какое приятное утреннее приветствие от незнакомца
Украинец приветствует туристов из Польши, как мило
Еще один кадр Мужчина расстегивает брюки
Если бы он не смотрел прямо в объектив
мы бы подумали, что он просто свернул с дороги пописать
но нет: он смотрит и смотрит, и сучит руками под пузом
Местный эксгибиционист — испортил нам кадр
На фотографии 10x15 см его нет как будто
и только в компьютере он появляется снова
видно лицо, даже руку видно на члене
Мужчина распадается
на пиксели, исчезает опять, остается только
бурная река и небо после дождя; красивый вид

На мятлом снимке из семейного альбома
родственники сидят ровно в бороздах рамки
за спиной у них как бы забор темный сад
Их мир мал, вся его поверхность —
несколько десятков квадратных сантиметров
Если его увеличить, что тогда станет видно?
Есть ли у тети Стаси обручальное кольцо на пальце
Вручную ли сшит краковский жилет маленькой тети Талюси
и крепко ли держатся
на нем бусины?
Старательно ли побрился перед съемкой дядя?
А цветок на шляпе у тети Зоси
живой или искусственный?
В чем отражается и расщепляется солнце
лучи которого, словно пучки лазера
падают родственникам под ноги?
Кто там прячется за стволом старой груши
и смотрит на них, криво улыбаясь?
Чья тень ложится из-за забора?

Я сижу за сканером
Устройство выключено
Пусть так и останется; красивый вид

Леся Украинка

На голове каменный венок, рядом деревенский бутуз
стриженный под горшок, в коротких штанах, видно, мальчик
Ребенок показывает стиснутый кулачок, а второго не видно
Спрятал за спину, что-то в ладошке прячет — это тревожно
Левая рука женщины крепко лежит на его плече, обнимает
Строгая воспитательница, нежная старшая сестра, смотрит
прямо
Правая рука женщины внизу, пальцы поджаты внутрь
Кисть как гнездо, из которого выпала жизнь на жесткую землю
С каменным спокойствием ждет она возвращения птичьих
самок
на подстилку из папиллярных линий в пернатую теплую
тяжесть
возрождающихся стихов
Так я хочу запомнить ее — землей, кланяющейся слову
и высекающей новый образ, и прошу, пускай это будет
лицо, которое помнит лишь то, о чем стоит помнить
Лицо стыда за то, чего не смогла пресечь
ни шумная, ни плавная, ни плетеная речь
и в будущем не остановит
никого и нигде, но все же привет тебе, вновь обретенный край
Сегодня я не боюсь вслух произнести твое чуждое имя

Перевод Анастасии Векшиной

Поэзия и история

Быстротечность и случайность бытия имеют свой исторический аспект, который и старается уловить Алиция Быковская-Сальчинская:

И нас все еще разделяют резкие государственные границы
хоть и слышны слова теплые и разумные.

Может, именно из-за этого ночью мы все стремимся
в откровенность водки под названием «Кенигсбергская»
и тост за тостом поднимаем за будущее
которое дальше, чем звезды над Калининградом
за людей и народы, которых нет пока что
на картах клочка общей Европы
(«Небольшое путешествие в Россию»)

В более ранних стихах автора встречается «ничья земля»,
которую волею судьбы именно мы населяем. Теперь эта земля
открывает объятия новым жителям — каким, мы не знаем.
История не стоит на месте, наслаиваются друг на друга новые
образы, что особенно заметно на пограничных территориях, а
ведь каждая территория погранична, надо только уметь это
увидеть. Быковская-Сальчинская обладает способностью со-
чувствия переменам и со-участия в них. Едва заметные
подземные точки истории, на первый взгляд незаметные, она
умеет переводить на язык созвучий прошлого и будущего,
сплетающихся на время в случайный узел: «Что же останется?
Мутные виды, / точки, черточки, пятна, нарушенный лад, /
пустое хозяйство в деревне, гнилье вод и трав, / и темнота, что
старее света и формы».

Эти стихи (они как повести, в них чувствуется дух эпоса)
передают многоголосие пространства, в котором сплетаются
польские, немецкие, русские, белорусские, литовские, может
быть, еще какие-то традиции. «Небольшое путешествие в
Россию» соседствует с «Небольшим путешествием в Литву»,
появляются персонажи, нелегально перевозящие янтарь,
«сокровище ятвягов, куршей за щеками / подмышками в
вагине и в пакете из супермаркета / под кровом ночи и мужчин
в балаклавах», а рядом — «старые мальчики из Билефельда»,

которые приезжают в места своего детства на Мазуры и, возможно, ходят на могилу жены Эрнста Вихерта, который «предпочитал плотность европейских городов / молчащей плотности полуночного бора». Прошлое вписывается в настоящее, развивая лирическое повествование:

Мы сидели в лодке
в транзитной зоне; с границами и без границ
между старым и новым тысячелетием
между жизнью и смертью любовью и неверием
между стихотворением и репортажем
между «Беги отсюда» и «Возвращайся домой»

Это «между», которое создают стихи Быковской-Сальчинской, обладает зарядом настоящей поэзии — ведь только поэзия может создать такое пространство сосуществования различных, на первый взгляд, далеких друг от друга человеческих опытов, которое способно отменить историю.

Однако, как доказывает только что опубликованный сборник автора, полностью отменить историю невозможно. Работа памяти не прекращается. Героиня сборника, семья которой была переселена с Волыни на Мазуры, пытается совладать с ресентиментом, который пробуждают в ней воспоминания о трагических польско-украинских столкновениях во время Второй мировой войны. Невозможно забыть о преступлениях, совершенных тогда: «Перед войной соседи шутили (...) // Потом шутить перестали / Господина учителя нашего / голым распяли на дереве / только галстук на шее оставили / дань его элегантности / Остроумные соседи / шутящие по-другому». Это произошло в деревне Кроватка^[1]. Повествование, придерживаясь фактов, старается соблюсти дистанцию — что ни говори, время лечит раны. Но никогда не залечивает до конца. Поэтому важен и конец этого стихотворения:

Нет, это никак нельзя
перевести
на наш, человеческий

А все-таки можно — именно поэзия становится здесь переводчиком.

1. Галстук по-польски «krawat» — Примеч. пер.

Бердичевское эссе

Уже всего десятилетие отделяло нас от момента падения трех империй, воцарившихся после Венского конгресса на землях Центральной и Восточной Европы, когда мой отец взял меня с собой в путешествие по Междуморью. Сразу после жатвы мы выехали из окрестностей Бара и не спеша двинулись на север. Мы ехали по бывшим территориям Ягеллонской Речи Посполитой, которые я немного знал по прошлым поездкам. Однако мысли наши и разговоры на сей раз обратились к будущему.

Власть трех императоров в воображении подданных явно пошатнулась. Можно уже было предвидеть закат установившегося порядка. Само приближение этого мгновения становилось порой ощутимо, как чувствуешь предваряющий лихорадку озноб. Тем труднее было не думать об отречении монархов, бегстве министров, открытии тюрем, словом, о конце нынешней системы. Мы лишь понимали, что новая глава истории откроется созывом конституционных собраний. Какие организационные идеи и какие интересы населения окажутся на повестке дня?

Словно искры в густом дыму, возникали и гасли эти вопросы в разговорах с местной интеллигенцией, революционерами всевозможного разлива, деятелями самоуправления, мещанами и крестьянами. Из этих разговоров не вырисовывалась никакая конкретная картина. Дело в том, что бывшая Речь Посполитая оставила после себя в этом краю бесконечное множество социальных, национальных, религиозных и профессиональных групп; каждая, казалось, была ограничена языком и обычаями, не имея никакой связи и даже почти не соприкасаясь с прочими. Возвращение к условиям, при которых возникло это странное историческое образование, представлялось невозможным, во всяком случае, путем революции и конституционных собраний. К тому же Запад, где в ту пору торжествовал национализм, в качестве примера для подражания предлагал лишь национальное государство в состоянии вечной угрозы и перманентной мобилизации. Эта модель казалась непрактичной, слишком далекой от реальности Междуморья. Впрочем, после двух войн она приелась и Западной Европе.

*

Бердичев был одной из первых остановок на пути, который через Минск и Ковно вел нас в Ригу. Другие города, увиденные по дороге, немного заслонили воспоминания о нем. Я бы не сумел точно его описать. Бердичев окружали утопавшие в зелени садов предместья. Припорошенная пылью темная листва черешен и слив казалась жестяной. В крытых соломой хатах жили только колесники, кузнецы, «кабанники»; деревянные усадьбы занимали господа шляхтичи, обедневшие, предававшиеся свободным профессиям и обучавшие молодое поколение в местных школах.

В центре города, служившем одновременно торговым районом и гетто, на мощеных улицах стояли трехэтажные дома, побеленные известью, к которой, по тогдашнему обычаю, добавляли щепотку ультрамарина или водных красок розового и шафранового цвета. Летом проезжающие телеги поднимали облака пыли.

Самым роскошным зданием был кармелитский монастырь, теперь занятый российскими учреждениями. Расскажу еще коротко об истории города: Бердичев был построен во времена Гедемина, его брал Хмельницкий, барские конфедераты капитулировали здесь после продолжавшейся месяц осады, после разделов Польши он пережил период упадка, продолжавшийся до середины XIX века.

Неизменной деталью Бердичева был находящийся за пределами города просторный холм, шелестевший на ветру сухими травами. Знаменитая на всю страну Лысая гора, место ведьминских шабашей.

Через несколько дней мы уехали из Бердичева, куда мне уже не суждено было вернуться. Память о нем долго дремала во мне. Лишь спустя полвека я стал все чаще к ней обращаться. В 1909 году я напрасно — как мне казалось — искал там образы будущего. Я ошибся. В Бердичеве я увидел несколько поразительных примеров прошлого, но не сумел их прочитывать.

*

На улице Махновецкой, главной артерии Бердичева, находилась лавка Шафнагеля, куда господа шляхтичи из ближайших и далеких окрестностей, особенно перед праздниками и семейными торжествами приезжали за перцем, имбирем,

ванилью и прочими колониальными товарами. Это был центральный пункт польского Бердичева. «На Махновецкой, у самой лавки Шафнагеля» — писал Михал Чайковский.

Длинная череда транспортных средств стояла перед лавкой: кареты, коляски, фаэтоны, экипажи, брички, шарабаны и телеги. Вдоль них, парами или небольшими группами, прохаживались, ведя оживленные разговоры, приезжие в пудермантелях. Для рассеянных по повяту сарматов, помещиков или конторщиков улица Махновецкая и лавка Шафнагеля служили главным местом встреч и источником свежих новостей. Проходя мимо, я слышал обрывки разговоров об именинах у тети Теклы, о крестинах у Капруцких, о том, как Шулдыбулдович пытался купить в Ярмолинцах четверку лошадей, и что из этого вышло. Слегка понизив голос, говорили также *de publicis*, об известиях, которые Хейбович привез из Петербурга, а Тетович — из Варшавы. Делились информацией о ценах на зерно, привезенной купцами из Одессы. Всевозможного рода сведения можно было также почерпнуть в бердичевском гетто, где многие имели родственников в Нью-Йорке и в Буэнос-Айресе.

Беседы велись весело, по-деревенски громогласно; все радовались встрече и возможности обменяться новостями. Передо мной была картина глубокой провинции; вести из мира доносились до нее редко и с запозданием, благодаря рассказам путешественников. Местная летопись состояла из происшествий, едва ли превосходящих по своей значимости приключения Шулдыбулдовича в Ярмолинцах. Казалось, что кроме сроков оплаты векселей не было у прогуливавшихся по Махновецкой иных забот. Их историческое сознание — *Geschichtsbewusstsein*, как называют это немцы — дремало. Они жили в тихом уголке, вдали от главного потока событий, которые готовились принести — в том числе и в Бердичев — большие перемены.

Я был тогда очень молод, но уже повидал столицы Западной Европы, где вершились судьбы мира. Я видел прусских офицеров с палашами, путающимися в полах синих мундиров, австрийских офицеров в обтягивающих блузах и шако с кокардой, видел, наконец, французских военных в красных штанах. Я знал имена государственных деятелей, державших руку на пульсе.

Вид сарматов, прохаживающихся «у самой лавки Шафнагеля», развлекал меня. Я еще не знал Фукидида и — подобно другим европейцам — не видел отчетливо неизбежного конца войны за первенство на континенте, главные участники которой как

раз занимали исходные позиции. Я также совершенно не предполагал, что образ Махновецкой улицы станет для меня мерой вещей, своего рода тростником, которым ангел Апокалипсиса велит мерить институты и людей.

Лишь спустя тридцать пять лет, когда на террасе женевского кафе я прочитал первое обширное сообщение о ялтинской конференции, собрание шляхтичей у лавки Шафнагеля встало у меня перед глазами, как живое. В рамках американо-русского мира разделенная Европа приобрела масштабы провинции. Занятые своей prosperity, словно бердичевские сарматы — продажей зерна и уплатой векселей, европейцы не в силах изменить установленный в Ялте порядок вещей. Кое-кто с недоверием или даже возмущением взирает на новую ситуацию. Кто помудрее, советует не дергаться, терпеть, ждать. Даже беседы европейцев уподобились Бердичевской модели. Сведения из мест, где принимаются решения, приходят в запоздалых и искаженных версиях, словно рассказы Хейбовича о поездке в Петербург.

*

Проходя вечером по темной улице, мы заметили освещенные окна, из которых доносились голоса — будто кто-то читал молитву. Бердичевские евреи были преимущественно хасидами и имели — если верить энциклопедии Брокгауза — семьдесят четыре молитвенных дома. Мы приблизились, голоса стали слышны отчетливее. Мы остановились, прислушиваясь. Читали вслух первый том «Капитала» Маркса. Мой отец постучал в окно, за стеклом показалось бледное лицо. Остаток вечера мы провели с местными марксистами за чтением «Капитала».

На столе стояла керосиновая лампа, освещавшая нищую портняжную мастерскую. Вокруг сидело несколько представителей этого весьма дурно оплачиваемого ремесла. Владелец единственного экземпляра «Капитала» громко и певуче читал текст, делая паузу после каждой фразы. Когда он умолкал, гости просили объяснить или повторить трудные места.

«Капитал» — чтение непростое, но то, что я тогда услышал, не походило на работу с трудными текстами в школе. Там целью коллективного чтения является прояснение прочитанного, объяснение неясных мест при помощи уже усвоенных терминов, включение их в систему ранее полученных знаний.

Бердичевские портные не ставили перед собой такой задачи. По мере чтения Маркс делался все более туманен, но это их ничуть не отталкивало. Читаемый текст представлял собой для них истину, не следующую из каких бы то ни было уже известных вещей и поэтому не поддающуюся объяснению. Они читали так, как читают верующие люди, усваивая текст не посредством его понимания, а посредством экзальтации, ставя заключенную в нем истину превыше любого данного опыта.

Воспитанный на позитивизме, я с изумлением внимал этому удивительному чтению, для которого Маркс, казалось бы, подходил менее всего. В странном возбуждении портных я был склонен видеть некий болезненный результат хронического недоедания и недосыпа. Я ошибался. Передо мной был образец мышления, которое позже распространилось и среди отлично откормленного населения Европы.

Бердичевских портных я вспоминал, читая в «Тан модерн» пространную апологию сталинского террора, принадлежащую перу Мерло-Понти, будущего профессора Сорбонны. Случилось это незадолго до откровений Хрущева и выноса тела диктатора из ленинского мавзолея. Это была далеко не первая западная ода советскому террору; похвала ученого философа, чья риторика и экзальтация отличались большей литературностью, лишь адресовалась более искушенной публике. Однако позиция автора поразительно напоминала Бердичевскую модель. Сталин являлся для него герольдом истины, несопоставимой с ранее усвоенными понятиями и опытом.

*

Бердичев эпохи революции я знаю лишь по рассказам брата, мобилизованного в 1917 году и отбывавшего службу в отряде броневых автомобилей.

Вокруг железнодорожной станции стояло несколько десятков тысяч солдат разных войск: после гибели или бегства офицеров они покинули фронт и с оружием в руках отступали вглубь страны. Разгрузить Бердичев никак не удавалось — составов не хватало, а в город прибывали все новые отряды дезертиров.

В ожидании транспорта избранные отрядами солдатские советы обсуждали судьбу арестованных в Бердичеве генералов из командования южным фронтом. Большая толпа солдат окружала здание, в котором держали задержанных генералов, его охраняли юнкера школ прапорщиков, будущие

добровольцы. Время от времени толпа начинала грозно гудеть: Отдайте их нам в руки. Так проходили часы и дни; все ждали возможности уехать.

Тем временем велись переговоры между кадетами и солдатскими советами. Кадеты были в абсолютном меньшинстве, но дезертировавшие солдаты, прежде всего, стремились домой. Было решено отправить арестованных генералов в Могилев, где находилось расформировываемое в тот момент командование фронтом.

Железнодорожное сообщение было плохим, все затягивалось, количество спорных вопросов росло. По мнению солдатских советов, находящиеся под стражей генералы могли быть отправлены в Могилев только в вагонах для арестантов, которые в Бердичеве отсутствовали. Дни проходили за бесплодными переговорами, которые время от времени прерывались криками: «Отдайте их нам в руки».

Военная радиостанция на Лысой горе находилась в руках восставших и неустанно призывала солдат к прекращению военных действий, созданию советов и подавлению контрреволюции. Однажды по Бердичеву разнеслась весть о том, что новый мифический командующий южным фронтом, генерал Корнилов, послал полк оренбургских казаков, чтобы захватить или уничтожить радиостанцию. Советы приняли решение защищать станцию, но мечтающим о доме солдатам неохота было копать окопы и воевать с казаками. Тогда вспомнили о бердичевском отряде броневых автомобилей. Большая их часть находилась на ремонте, который осложнялся отсутствием запчастей. Лишь несколько автомобилей находилось в состоянии боевой готовности. Отыскивали разбежавшихся по городу шоферов и велели им тянуть жребий. Мой брат оказался среди тех, кому предстояло защищать Лысую гору. Он отговаривался тем, что его взяли из госпиталя, но товарищи и слышать ничего не хотели: «Вытянул жребий — поезжай». Брат больше не сопротивлялся; ему пришло в голову, что на вооруженном легким пулеметом быстроходном автомобиле ему, наконец, удастся бежать из Бердичева.

Автомобили заняли позиции на склоне Лысой горы. Брату досталось место у тракта, на котором в облаке пыли показались черные мундиры казаков. Вместо того, чтобы развернуться перед Лысой горой, они спокойно ехали четверками на Бердичев. Впереди медленной рысью двигались полковник и двое офицеров. В их движениях было нечто необычное, что привлекло внимание брата. Когда они приблизились, он увидел, что руки у них связаны за спиной.

Этот последний образ Бердичева, которым я располагаю, наводит на параллели и размышления. Европейский Запад видел падение режимов Вильгельма II, Муссолини и Гитлера. При этом оказалось пролито море крови, но не был отмечен ни один достойный внимания акт неповиновения. Судя по сочинениям хотя бы Г.Д. Торо, Селина и манифестам сюрреалистов, «редкая и трудная добродетель неповиновения» имела здесь своих приверженцев, но следы ее можно обнаружить лишь в плодах воображения. В действительности же со времен Наполеона культ дисциплины любой ценой является одной из важнейших черт европейской цивилизации. Будучи необходимым условием войн за власть на континенте, она в результате и подготовила Европу к нынешней роли провинции.

Перевод Ирины Адельгейм

Неизбежность движения денег

Встречи с Конрадом (9)

*Деньги, если ими манипулируют,
во многих отношениях опасны, словно порох.
Плантатор из Малаты*

Мир без денег — это не мир Конрада. Деньги определяют в нем карьеру и любовь, соединяют и разлучают. Помимо философского дискурса, мы имеем здесь дело с отчетливо выраженным дискурсом экономическим, затрагивающим наиболее болезненные точки модернизируемого мироустройства. В морских повествованиях не найти и следа романтической мечты обнаружить пиратский клад, отсутствуют проклятые затопленные богатства или морские чудовища, стерегущие бесценный груз.

Колониальные мечты о власти подвергаются систематическому критическому анализу, обнаруживающему мелочность и безжалостность механизма завоевания, умноженные повторяемостью, обычной случайностью, а порой парадоксально — добрыми намерениями. Иначе говоря, имперские интересы в прозе Конрада выглядят бледно рядом с карьерой и банкротством отдельной личности, и эта внешняя индивидуализация парадоксальным образом отражает типологию и модель судьбы представителя колониализма.

Деньги можно сделать на всем: будь то серебряные рудники, как Сан Томе в «Ностромо», терроризм в «Секретном агенте», слоновая кость («Сердце тьмы»), аптекарские товары, навязанная страховка («Тайный сообщник») или даже обмен старых денег на новые («Все из-за долларов»), уголь или гостиница для белых («Победа»). Герои, главные и второстепенные, заняты бизнесом, ищут возможности обогатиться, опасаются за свое состояние, иными словами — уделяют материальным вопросам очень много внимания.

Часто демонстрируя дистанцию по отношению к материальным благам, повествователь постоянно развенчивает человеческую слабость, проявляющуюся, как только представляется шанс получить прибыль. Конрад

показывает механизм, заставляющий людей идти на всевозможные жертвы ради оборачивающейся иллюзией материальной выгоды. Именно эта иллюзия, будто деньги являются чем-то большим, чем кажутся, приводит порядочных, в общем, героев к гибели. Двигателем их поведения оказывается скорее жажда власти, независимости, порой обычная лень, иной раз также гордыня, стремление изменить социальный статус.

Конрад не критиковал колониализм открыто, не вводил политический дискурс, ни с позиции жителей завоеванных стран, ни в защиту интересов имперских государств. Такую сдержанность он сохранял с первого романа «Каприз Олмейера», однако аллюзии с финансовым измерением колониализма свидетельствуют о проницательности писателя. Заглавный герой, белый европейский предприниматель из Юго-Восточной Азии страдает манией обогащения, что следует воспринимать не только в психологическом, универсальном измерении, области человеческих недостатков и слабостей — нужно также обратить внимание на польский контекст подобной конструкции персонажа. В описании отношения Олмейера к материальным благам нашло выражение знакомство Конрада с определенной областью колониализма, тем не менее, конструкция эта достаточно неоднозначна.

Олмейер всю жизнь провел на азиатских торговых постах, ни в одном европейском городе ни разу не был. Он всю жизнь мечтал уехать в Европу и поселиться там, идентифицировал себя с европейцами и желал доказать, что является одним из них. Декларируемая идентичность требует подтверждения, которое не вполне убеждает его самого, даже если он в этом не признается. Идеализируемый героем культ европеизма плохо сочетается с жизнью торговца, хотя, парадоксальным образом, именно торговля призвана стать орудием осуществления страстного желания и позволить скопить средства на то, чтобы выбраться из Самбира, а после прибытия в Амстердам — устроить пышный пир в честь самого себя — миллионера с Востока, которого ждет рай Европы. Такова мечта Олмейера, в которой нашлось также место для дочери — Нины: она должна стать украшением его европейского дома. Однако девушка выбрала возлюбленного из числа местных жителей, предпочла Самбир, его культуру и обычаи, что для отца равнозначно отречению от него и от неведомой Европы.

Противоречия, в которых запутывается герой, в сущности носят трагикомический характер: Олмейер работает на европейском торговом посту в Самбире, который ненавидит за

то, что тот не является Европой, и который при этом влечет его, поскольку именно Самбир открывает перспективы реализации мечты, обеспечивает богатство. Жизнь на Борнео отвращает его и привлекает, в результате он женится на малайке, ведет дела с азиатами и даже принимает участие в контрабанде пороха бунтующим малайцам — врагам его народа. Когда во время обеда в его доме голландские офицеры обвиняют Олмейера в нарушении закона, тот совершенно не отдает себе отчет, что контрабанда пороха, в сущности, несовместима с лояльностью по отношению к расе, принадлежность к которой составляет источник его гордости и честолюбия. Трагизм Олмейера отчасти является производной мечты о великой Европе, порожденной его отъединенностью от нее, парадокса ситуации, в которой он жертвует своей идентичностью во имя превращения в европейца, парадокса колониализма, полагающего, что завоеванные европейцами земли должны непременно становиться Европой. Чтение этого романа заставляет задуматься о связи материальных благ и идентичности, в нем можно увидеть отражение определенных изменений в самоидентификации Европы, заключающихся в своеобразном культе торговли, полагаемом рудиментарным элементом европеизма. Конрад не считает, будто «бытие определяет сознание», скорее он, подобно Бальзаку, рисует человека на фоне общественных перемен — достаточно вспомнить, например, Растиньяка в «Отце Горио», в тот момент, когда на арену выходит новый капитал нуворишей. Он, провинциальный аристократ, не может приспособиться к их размытым, но все же существующим принципам поведения. Олмейеру сложно принять не только то, что чуждо по своей природе — именно поэтому читатель мало что узнает об экзотической стране — но и то, что казалось ему знакомым, т.е. европейским. Эту сложность он последовательно вытесняет из своего сознания. Белый европейский предприниматель играет роль, которой не существует в Европе, то есть роль европейского предпринимателя колониальной эпохи, с целью подтверждения своего европеизма — такое поведение обречено на фиаско по объективным причинам, поскольку базируется на неверных посылах. Олмейер — персонаж трагический, но в своем трагизме комический.

Остается также другой контекст: обе мании Олмейера — стремление к европейской культурной идентичности и жажда торговой деятельности, которая призвана обеспечить эту идентичность — располагают к аллюзиям с идеологическими дискуссиями, которые велись во Львове и в Кракове после поражения январского восстания, в последние годы пребывания Конрада на польских землях. Одной из важнейших

поднимавшихся тогда тем был вопрос, могут ли различные формы материального благосостояния сыграть значимую роль в сохранении коллективной идентичности, или же сама идея обогащения в ситуации разделов Польши свидетельствует о деморализации и духовном упадке. Это весьма специфический аспект, поскольку обогащение воспринималось как нечто подозрительное, обогащаться мог тот, кто не вредил власти, кто пользовался ее расположением — а отсюда уже шаг до клейма предателя. Терявший состояние, живший бедно мог рассчитывать на кредит общественного доверия. В социальном и дидактическом измерении, формирующем национальное сознание, это грозило культом поражения, страдания. За некоторыми исключениями такой настрой демотивирующе и деструктивно воздействовал на общество, поскольку нельзя строить чувство национальной идентичности и концепцию сильного общества на опыте жертвы, на мартирологии. Кроме того, всегда существует опасность, что мартирология будет использована для оправдания обычных неудач тех, кто *de facto* для отчизны ничего не сделал. Спор, который велся на страницах тогдашней периодики, не мог не стать известен Конраду Коженевскому, который хоть и был молод, но имел непосредственный опыт соприкосновения с историческими событиями и вращался в среде, в которой эти темы бурно обсуждались. Патриотизм и чувство принадлежности, идентификация — эти два понятия в конкретных человеческих судьбах нередко пересекаются, но не всегда. В мире Конрада патриотизм связывается скорее с готовностью жертвовать собой, а идентификация — с действием рациональным и волютивным.

Два наиболее значимых для Конрада человека — его отец, Аполлон Коженевский, и дядя, Тадеуш Бобровский, — занимали разные позиции. Аполлон культивировал романтическую традицию национальной независимости, Тадеуш Бобровский являлся сторонником программы органического труда, приверженцем материального развития. Этот антагонизм не был лишь идеологическим, кроме того, в контексте начавшихся после восстания репрессий не стоит слишком разделять эти позиции. Аполлон и его жена Эва создали в Варшаве Городской комитет, ставший центральным органом руководства восстанием. Они оказались осуждены, приговорены и сосланы в Вологду, где Эва умерла; имущество было конфисковано. Тадеуш Бобровский, юрист, преподававший в петербургском университете, участвовал в Крестьянских комитетах, которые должны были выработать принципы отмены крепостного права, пропагандировал создание кооперативных сберегательных касс. Однако Аполлон

также отдавал себе отчет в необходимости общественных перемен вслед за переменами политическими, и не был лишь идеалистом, оторванным от реальности экзальтированным поэтом. Сам Конрад, видимо, не очень четко это осознавал, поскольку в заметке к книге «Из воспоминаний» представил январское восстание как порыв, лишенный проекта общественных и экономических реформ. Трудно согласиться с упрощенной интерпретацией, будто за такой позицией стоит исключительно влияние дяди Бобровского, который обесценивал жертву как отца, так и восстания в целом. Во-первых, Конрад существовал не в изоляции, во-вторых, Бобровский не был личным врагом Аполлона. Каковы бы ни были в 1868–74 гг. взгляды Конрада на восстание, он оказался свидетелем бурной дискуссии на тему концепции патриотизма.

Интересно, что Конрад в своем творчестве не полемизирует с другими важными политическими явлениями своей эпохи, в его произведениях отсутствуют попытки оспорить социалистическую мысль, комментарии относительно марксистского тезиса, будто материальные богатства, являющиеся результатом человеческого труда, должны контролироваться создавшим их классом. Такое впечатление, что писатель отвергает любые формы радикализма. В своем наиболее выразительном споре с Канингеймом Грэмом автор «Секретного агента» переводит политические раздумья на рельсы метафизики, когда пишет, что вселенную следует понимать как огромный механизм, который нельзя заставить перестать ткать и начать вышивать. Если для Конрада вселенная — загадка, которую человек по своей природе не в силах разгадать, то все попытки ее понимания обречены на фиаско, на неполноту. Тем не менее, в процессе таких попыток механизм вселенной продолжает работать, деньги делают свое дело, и весьма рискованно полагаться на них в классификации и оценке личности. Деньги — всего лишь деньги, они не откроют тайну мироздания.

Перевод Ирины Адельгейм